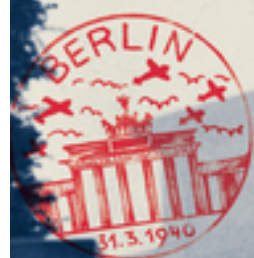


ОДИН В БЕРЛИНЕ



КАЖДЫЙ УМИРАЕТ В ОДИНОЧКУ

Ханс
Фаллада

ВОССТАНОВЛЕННАЯ АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ

Ханс Фаллада

**Один в Берлине (Каждый
умирает в одиночку)**

Издательство «Синдбад»

1946

УДК 821.112.2
ББК 84.4Г

Фаллада Х.

Один в Берлине (Каждый умирает в одиночку) / Х. Фаллада —
Издательство «Синдбад», 1946

ISBN 978-5-906837-46-2

Ханс Фаллада (псевдоним Рудольфа Дитцена, 1893–1947) входит в когорту европейских классиков XX века. Его романы представляют собой точный диагноз состояния немецкого общества на разных исторических этапах.... 1940-й год. Германские войска триумфально входят в Париж. Простые немцы ликуют в унисон с верхушкой Рейха, предвкушая скорый разгром Англии и установление германского мирового господства. В такой атмосфере бросить вызов режиму может или герой, или безумец. Или тот, кому нечего терять. Получив похоронку на единственного сына, столяр Отто Квангель объявляет нацизму войну. Вместе с женой Анной они пишут и распространяют открытки с призывами сопротивляться. Но соотечественники не прислушиваются к голосу правды – липкий страх парализует их волю и разлагает души. Историю Квангелей Фаллада не выдумал: открытки сохранились в архивах гестапо. Книга была написана по горячим следам, в 1947 году, и увидела свет уже после смерти автора. Несмотря на то, что текст подвергся существенной цензурной правке, роман имел оглушительный успех: он был переведен на множество языков, лег в основу четырех экранизаций и большого числа театральных постановок в разных странах. Более чем полвека спустя вышло второе издание романа – очищенное от конъюнктурной правки. «Один в Берлине» – новый перевод этой полной, восстановленной авторской версии.

УДК 821.112.2
ББК 84.4Г

ISBN 978-5-906837-46-2

© Фаллада Х., 1946

© Издательство «Синдбад», 1946

Содержание

Часть I	7
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	14
Глава 4	21
Глава 5	24
Глава 6	31
Глава 7	36
Глава 8	40
Глава 9	44
Глава 10	46
Глава 11	54
Глава 12	57
Глава 13	61
Глава 14	66
Глава 15	70
Глава 16	73
Глава 17	83
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Ханс Фаллада

Один в Берлине (Каждый умирает в одиночку)

Hans Fallada

JEDER STIRBT FÜR SICH ALLEIN

Unshortened re-edition based on the original typescript of 1946.

First published in 2011.

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2011

Published in the Russian language by arrangement with *Aufbau Verlag GmbH & Co. KG*

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление.

Издательство «Синдбад», 2017.

События этой книги в общих чертах следуют документам гестапо о нелегальной деятельности семейной пары берлинских рабочих с 1940 по 1942 год. Да, лишь в общих чертах, ведь у романа свои законы, он не может во всем копировать действительность. Потому-то автор не старался выяснить подлинные детали частной жизни этих двух людей: он должен был изобразить их такими, какими себе представлял. Иначе говоря, они – плод его фантазии, как и все прочие персонажи романа. Однако же автор верит во «внутреннюю правду» своего рассказа, хотя некоторые подробности не вполне соответствуют реальным обстоятельствам.

Кое-кто из читателей, вероятно, сочтет, что в книге слишком много пыток и смертей. Автор полагает возможным обратить внимание на то, что речь в книге идет почти исключительно о людях, боровшихся против гитлеровского режима, о них и об их гонителях. В 1940–1942 годах, а также до и после в этих кругах гибли многие и многие. Добрая треть событий книги разыгрывается в тюрьмах и психиатрических больницах, где смерть опять-таки была совершенно в порядке вещей. Нередко и автору тоже не нравилось рисовать столь мрачную картину, но прибавить света означало бы солгать.

Берлин, 26 октября 1946 г.

Х.Ф.

Часть I Семья Квангель

Глава 1 Почта приносит дурную весть

Почтальонша Эва Клуге медленно поднимается по лестнице дома 55 по Яблонскиштрассе. Медленно она идет не оттого, что очень уж устала разносить почту, а оттого, что в сумке у нее одно из тех писем, вручать которые ей неведомо, но как раз сейчас, двумя этажами выше, придется вручить его Квангелям. Хозяйка наверняка ждет ее не дожидается, уже две с лишним недели она караулит почтальоншу: нет ли письма с фронта.

Прежде чем вручить напечатанное на машинке письмо полевой почты, Эва Клуге доставит газету «Фёлькишер беобахтер»¹ в квартиру Персике, этажом ниже. Персике не то функционер в «Трудовом фронте»², не то политический руководитель или еще какая птица в партии³, – с тех пор как работает на почте, Эва Клуге тоже состоит в партии, но по-прежнему путается во всех этих должностях. Так или иначе, здороваясь с Персике, надо говорить «Хайль Гитлер!» и очень остерегаться сболтнуть лишнее. Вообще-то остерегаться надо везде, редко кому Эва Клуге может сказать, что думает на самом деле. Политика ее несколько не интересует, она просто женщина и как женщина считает, что детей рожала на свет не затем, чтобы их убивали. И в домашнем хозяйстве без мужчины никак, у нее вот теперь ничегошеньки не осталось – ни обоих мальчиков, ни мужа, ни хозяйства. Вместо этого держи рот на замке, гляди в оба да разноси ужасные письма с фронта, написанные не от руки, а на машинке, вдобавок и отправителем значится начальник штаба полка.

Она звонит к Персике, говорит «Хайль Гитлер!», отдает старому забулдыге «Фёлькишер». На лацкане у него уже красуются членский и должностной значки – приколоть свой партийный значок она вечно забывает.

– Что новенького? – спрашивает он.

Она осторожно отвечает:

– Да почему я знаю. Кажись, Франция капитулировала. – И быстро добавляет вопрос: – А у Квангелей есть кто дома?

Персике пропускает ее вопрос мимо ушей. Нетерпеливо разворачивает газету.

– Вот же написано: Франция капитулирует. А послушать вас, мадамочка, так вы словно булки продаете! Рапортуем бодро-весело! И всякому, к кому заходим, – это распоследних нытиков убедит! Второй блицкриг обтыпали, а теперь прямым курсом в Англию! Месячишка через три и с томми покончим, а там и заживем кум королю, с нашим-то фюрером! Пусть теперь другие пуп надрывают, а мы – всему миру хозяева! Заходи-ка, мадамочка, выпей с нами шнапсу! Амалия, Эрн, Август, Адольф, Бальдур – все сюда! Нынче гуляем, нынче работать грех! По всей форме гульнем, Франция-то капитулировала, а там и на четвертый этаж двинем, к старухе-жидовке, пусть-ка старая перечница попробует не угостить нас кофеем да пирогом! Куда она денется – коли Франция сдалась, так я и ей спуску не дам! Раз мы теперь всему миру хозяева, то и всяких-разных к ногтю прижмем!

¹ Ежедневная газета, официальный орган НСДАП. – *Здесь и далее прим. перев.*

² Официальная организация рабочих и служащих в фашистской Германии.

³ Под партией и партийцами везде в романе подразумеваются гитлеровская НСДАП – Национал-социалистская рабочая партия Германии – и ее члены.

Господин Персике, окруженный своим семейством, все больше входит в раж и уже опрокидывает стопку шнапса, а почтальонша между тем давно успела подняться выше этажом и позвонить в дверь Квангелей. Письмо она уже держит в руке, чтобы сразу бежать дальше. Но ей везет: дверь открывает не жена, которая обычно не прочь дружелюбно перемолвиться словечком-другим, на пороге стоит муж с угловатым птичьим лицом, тонкогубым ртом и холодными глазами. Он молча берет конверт и тотчас захлопывает дверь перед носом у Эвы Клуге, будто она воровка, которой надо остерегаться.

Но в подобных случаях почтальонша только плечами пожимает и снова идет вниз по ступенькам. Таких людей тоже предостаточно; с тех пор как она разносит почту на Яблонскиштрассе, этот мужчина еще ни разу не сказал ей ни словечка, хотя и он, как ей известно, тоже занимает должность в «Трудовом фронте». Ну и пусть, ей его не переделать, она даже мужа своего не смогла переделать, ведь он так и транжирит деньги по кабакам да в тотализаторе, а домой является, только когда в кармане ни гроша.

Персике на радостях оставили входную дверь настежь, из квартиры доносится звон стаканов и шум победной гулянки. Почтальонша тихонько закрывает их дверь и продолжает спускаться по лестнице. При этом она думает, что новость вообще-то и впрямь хорошая, ведь эта быстрая победа над Францией приближает мир. Оба ее сына вернутся с фронта, и она вновь станет обустривать для них домашнее гнездышко.

Однако эти надежды омрачает неприятное ощущение, что люди вроде Персике окажутся тогда на самом верху. Иметь над собой этаких начальников и поневоле вечно держать язык за зубами, не сметь ни словом обмолвиться о том, что у тебя на душе, кажется ей совершенно неправильным.

Мелькает у нее и мысль о человеке с холодным ястребиным лицом, которому она только что вручила письмо с фронта и который, наверно, тоже получит в партии пост повыше; думает она и о старой еврейке Розенталь с пятого этажа, мужа которой две недели назад забрали в гестапо. Жалко ее, бедняжку. Раньше Розентали держали бельевой магазин на Пренцлауэр-аллее. Потом его ариизировали⁴, а теперь и мужа забрали, а ему, поди, без малого семьдесят. Старики эти наверняка в жизни никому худого не делали, и в кредит всегда отпускали, Эве Клуге тоже, когда денег на детское бельишко не хватало, и качеством товар у Розенталей был не хуже, чем в других магазинах, и цены не выше. Нет, у Эвы Клуге в голове не укладывается, что такой человек, как Розенталь, хуже этих вон Персике, потому только, что он еврей. Теперь старушка сидит наверху в квартире одна-одинешенька, на улицу выйти боится. За покупками идет, с желтой звездой на груди, только когда стемнеет, голодает небось. Нет, думает Эва Клуге, пусть мы хоть десять раз победили Францию, никакой справедливости у нас нету...

С такими вот мыслями она добирается до следующего дома и продолжает свой обход.

Тем временем сменный мастер Отто Квангель, пройдя в комнату, кладет письмо на швейную машинку.

– Вот! – только и говорит он.

Он всегда предоставляет жене право открывать эти письма, знает ведь, как она привязана к их единственному сыну Отто. Сейчас Квангель стоит напротив нее, прикусив тонкую нижнюю губу, и ждет, когда ее лицо озарит радость. Немногословный, сдержанный, скупой на ласку, он очень любит эту женщину.

Она надорвала конверт, на секунду ее лицо и правда осветилось, но тотчас погасло, едва она увидела машинописный текст, стало испуганным, она читала все медленнее и медленнее, будто страшилась каждого следующего слова. Муж наклонился вперед, вынул руки из карма-

⁴ То есть передали в собственность арийцам, иначе говоря, чистокровным немцам.

нов. Зубы крепче прикусили нижнюю губу, он чуял беду. В комнате полная тишина. И дыхание женщины мало-помалу делается прерывистым...

Внезапно она тихо вскрикивает, такого вскрика муж никогда еще не слышал. Она роняет голову на машинку, прямо на шпульки с нитками, потом зарывается лицом в складки шитья, прикрывая роковое письмо.

Два шага – и он у нее за спиной. С неожиданной поспешностью кладет ей на спину большую, натруженную руку. Чувствует, как жена дрожит всем телом.

– Анна! – говорит он. – Анна, пожалуйста! – Секунду молчит, потом, сделав над собой усилие, спрашивает: – Что-то с Отто? Ранен, да? Тяжело?

Жена по-прежнему вся дрожит, но с губ не слетает ни звука. Она даже не пытается поднять голову и посмотреть на него.

Он смотрит на ее макушку – с тех пор как они поженились, волосы поредели. Состарились оба, и, если с Отто впрямь что-то случилось, ей будет некого любить, разве только его, а ведь он чувствует, любить в нем особо нечего. Не умеет он найти слов и сказать, как она ему дорога. Даже сейчас не может приласкать ее, дать ей немного нежности, утешить. Только кладет тяжелую, сильную руку на ее поредевшие волосы, мягко заставляет поднять голову, посмотреть на него и вполголоса говорит:

– Что они там пишут, скажи мне, Анна!

Ее глаза совсем близко, но она не глядит на него, веки полуопущены. Лицо залила желтоватая бледность, обычно свежие краски поблекли. И плоть как бы усохла, не лицо, а череп. Только щеки и губы дрожат, как и все тело, охваченное непонятным внутренним трепетом.

Глядя в это знакомое, теперь совсем чужое лицо, чувствуя, как сердце бьется все сильнее, сознавая полную свою неспособность хоть немного утешить ее, он ощущает глубокий страх. В сущности, смехотворный по сравнению с глубокой болью жены, ведь ему страшно, что она зарыдает, еще громче и неистовее, чем сейчас. Он всегда предпочитал тишину, Квангелей не должно быть слышно в доме, а уж чувствам волю давать и вовсе незачем – ни в коем случае! Однако и в этом страхе муж не в силах выговорить больше того, что сказал только что:

– Что они пишут, Анна? Скажи, наконец!

Письмо лежит перед ним, можно взять, но он не смеет. Ведь придется отпустить жену, а он понимает, что ее лоб, где уже сейчас кровоточат две ссадины, опять ударится о машинку. Сделав над собой усилие, он еще раз спрашивает:

– Что там с нашим Отти?

Ласкательное имя, так редко произносимое мужем, будто возвращает Анну из мира боли в реальность. Жена несколько раз всхлипывает и даже открывает глаза, обычно ярко-синие, а сейчас точно выцветшие.

– С Отти? – шепчет она. – А что с ним может быть? Ничего! Нет больше Отти, вот что случилось!

Муж говорит лишь «о-о!», протяжное «о-о!» вырывается из глубины его души. Сам того не сознавая, он отпускает жену, берет письмо. Глаза всматриваются в строчки, но прочесть не могут.

Анна выхватывает письмо у него из рук. Настроение у нее резко переменилось, она яростно рвет бумагу в клочья, в мелкие клочки, в ошметки, торопливо, взхлеб выкрикивает ему в лицо:

– Зачем тебе еще и читать эту мерзость, эту бесстыдную ложь, какую они пишут всем? Что он геройски погиб за фюрера и за народ? Что был образцовым солдатом и товарищем? Станешь читать это вранье, а ведь мы-то с тобой знаем, что больше всего мальчик любил возиться с радиоприемниками и плакал, когда его забирали в солдаты! Пока был в школе для новобранцев, Отти так часто рассказывал мне, сколько там негодяев, пусть, говорил, мне хоть правую

руку отрежут, лишь бы убраться от них подальше! Но теперь, видите ли, образцовый солдат и товарищ! Вранье, сплошное вранье! А все вы с вашей вонючей войной, ты и твой фюрер!

Жена стоит перед Квангелем, она меньше его, но глаза мечут яростные молнии.

– Я и мой фюрер? – бормочет он, совершенно сраженный этой атакой. – С какой стати он вдруг *мой* фюрер? Я даже в партии не состою, только в «Трудовом фронте», а туда, хочешь не хочешь, вступают все. И выбирали его мы оба, и должность во «Фрауэншафте»⁵ у тебя тоже есть.

Все это он говорит в своей обстоятельной, неспешной манере, не то чтобы защищаясь, скорее просто для ясности. Ему пока непонятно, с чего это она вдруг на него ополчилась. Вообще-то они всегда жили в согласии...

А она запальчиво продолжает:

– Ты же хозяин в доме, ты все решаешь, все должно быть по-твоему, и пусть мне нужна всего-навсего загородка в подвале для картошки на зиму – она будет такая, как хочешь ты, а не я. И в таком вот важном деле ты решаешь неправильно? Хотя ты ведь у нас тихоня, для тебя главное – собственный покой да лишь бы не высываться. Ты хочешь быть как все; все закричат: «Фюрер, приказывай – мы исполним!» – и ты туда же, словно баран. И мы поневоле за тобой! А теперь вот умер мой Отти, и ни ты и никакой фюрер на свете мне его не вернет!

Квангель слушал и не перечил. Спорщиком он никогда не был, к тому же чувствовал, что это просто выплеск боли. И едва ли не радовался, что жена сердится на него, что до поры до времени не дает воли горю. В ответ на все обвинения он лишь коротко сказал:

– Надо сообщить Трудель.

Трудель была подружкой Отти, почти невестой, и уже называла его родителей «мама» и «папа». Вечерами она часто забежала к ним поболтать, и теперь, в отсутствие Отти, тоже. Днем она работала на фабрике форменного обмундирования.

Упоминание Трудель придало мыслям Анны Квангель другое направление. Бросив взгляд на блестящий маятник стенных часов, она спросила:

– До смены успеешь?

– Смена сегодня с часу до одиннадцати, – ответил он. – Успею.

– Хорошо. Тогда иди, но скажи ей только, чтобы зашла, а про Отти молчи. Я сама с ней поговорю. К двенадцати сделаю тебе обед.

– Ладно, пойду передам, чтобы вечером заглянула, – сказал он, но не ушел, стоял, глядя в ее изжелта-бледное, болезненное лицо. Она уже не прятала глаз, и минуту-другую оба смотрели друг на друга, двое людей, прожившие вместе без малого три десятка лет, в полном согласии, он – молчаливый и сдержанный, она – привносящая в дом чуточку жизни.

Но сейчас, сколько ни смотрели они друг на друга, сказать им было нечего. И в конце концов он кивнул и ушел.

Она услышала, как стукнула входная дверь. И едва только поняла, что муж вправду ушел, снова повернулась к швейной машинке и собрала обрывки рокового письма. Попыталась сложить их по порядку, но очень скоро поняла, что получается слишком медленно, сейчас первым делом надо обед готовить. Она аккуратно сложила обрывки в конверт и сунула его в сборник псалмов. После полудня, когда Отто уйдет на работу, у нее будет время разобрать обрывки и склеить письмо. Конечно, там сплошь глупое, подлое вранье, ну и пусть, все равно это последняя весточка об Отти! Все равно она сохранит ее и покажет Трудель. Может, тогда придут слезы, а пока что в сердце лишь палящий огонь. А как бы хорошо было выплакаться!

Она сердито тряхнула головой и пошла на кухню, к плите.

⁵ «Фрауэншафт» – женская национал-социалистская организация, созданная в 1931 г. с целью объединения всех женщин Германии.

Глава 2

Что имел сказать Бальдур Персике

Когда Отто Квангель проходил мимо квартиры Персике, оттуда как раз донесся ликующий рев, вперемишку с криками «Зиг хайль!». Квангель прибавил шагу – только бы не столкнуться с кем-нибудь из этой компании. Уже десять лет они жили в одном доме, но Квангель с давних пор старательно избегал любых встреч с семейством Персике, еще когда Персике-старший был мелким и неудачливым кабатчиком. Теперь Персике стали важными персонами, старикан занимал кучу партийных постов, а двое старших сыновей служили в СС; деньги для них, по всей видимости, роли не играли.

Тем больше оснований их остерегаться, ведь подобным людям нужно ладить с партией, а ладить – значит что-то для нее делать. Иначе говоря, доносить, например, что такой-то и такой-то слушали иностранное радио. Поэтому Квангелю давно хотелось запаковать все приемники Отти и снести в подвал. Никакая осторожность не помешает в нынешние времена, когда все друг за другом шпионят, когда руки гестапо дотянутся до любого, когда концлагерь в Заксенхаузене все расширяется, а гильотина в тюрьме Плётцензее ни дня не простаивает. Ему, Квангелю, радио без надобности, а вот Анна уперлась. Мол, недаром говорят: у кого совесть чиста, тому бояться нечего. Хотя это давным-давно уже не так, если вообще когда-нибудь было так.

Вот с такими мыслями Квангель спустился по лестнице, пересек двор и вышел на улицу.

Горланили же у Персике потому, что семейный умник, Бальдур, который осенью пойдет в гимназию, а если папаша успешно задействует свои связи, даже в «наполу»⁶, – словом, горланили потому, что Бальдур обнаружил в «Фёлькишер беобахтер» фотографию. На фотографии – фюрер и рейхсмаршал Геринг, а внизу подпись: «При получении известия о капитуляции Франции». Геринг на снимке улыбается во всю свою жирную физиономию, а фюрер от радости хлопает себя по ляжкам.

Персике тоже радовались и улыбались, как парочка на фото, пока Бальдур, светлая голова, не спросил:

– А что, вы не замечаете на этой фотографии ничего особенного?

Все выжидательно глядят на него, они настолько убеждены в умственном превосходстве этого шестнадцатилетнего юнца, что никто даже гадать не смеет.

– Ну! – говорит Бальдур. – Подумайте хорошенько! Снимок-то сделан фоторепортером. Он что же, рядышком стоял, когда пришло известие о капитуляции? Ведь его наверняка сообщили по телефону, или с курьером прислали, или даже передали через какого-нибудь французского генерала, а на снимке-то ничего такого не видно. Просто стоят двое в саду и радуются...

Родители, братья и сестра по-прежнему молча таращатся на Бальдура. От умственного напряжения словно бы поглупели. Старик Персике тянул бы еще рюмашку, но не смеет, пока Бальдур держит речь. Он уже убедился на опыте, что Бальдур бывает очень неприятным, когда его политические выступления слушают недостаточно внимательно.

Между тем сынок продолжает:

– Значит, фотография постановочная, снимали вовсе не при получении известия о капитуляции, а несколько часов спустя или, может, вообще на другой день. А теперь посмотрите, как радуется фюрер, даже по ляжкам себя хлопает от радости! По-вашему, такой великий человек, как фюрер, станет и на следующий день так радоваться вчерашней новости? Нет уж, он

⁶ «Напола» – сокр. «национал-политическое учебное заведение»; сеть таких школ была создана в апреле 1931 г. с целью подготовки нацистской элиты, обучались там подростки в возрасте от 10 до 18 лет, выходцы из рабочих семей или дети военнослужащих.

давно думает об Англии и о том, как нам приложить томми. А этот снимок – чистой воды комедия, от съемки до хлопанья по ляжкам. Дураков морочат!

Теперь родня смотрит на Бальдура так, будто они и есть те самые замороченные дураки. Будь на месте Бальдура посторонний, они бы мигом донесли на него в гестапо.

– Доперли? Вот чем велик наш фюрер: он никому не дает проникнуть в свои планы, – вещает Бальдур. – Все теперь думают, он радуется победе над Францией, а он небось уже снаряжает корабли для десанта в Англию. Вот чему мы должны учиться у нашего фюрера: незачем всем и каждому рассусоливать, кто мы такие и что собираемся делать!

Остальные с жаром кивают, полагая, что наконец-то поняли, куда Бальдур клонит.

– Кивать-то вы киваете, – раздраженно ворчит Бальдур, – а толку? Каких-то полчаса назад я слышал, папаша говорил почтальонше, мол, старуха Розенталь угостит нас кофеем с пирогом...

– Ох уж эта старая жидовка! – говорит папаша Персике, но вроде как извиняясь.

– Оно конечно, – соглашается сынок, – если с ней что стрясется, много шума поднимать не станут. Но трепать-то про это зачем? Бдительность никогда не помешает. Ты вот глянь на соседа сверху, на Квангеля. Ни словечка из него не вытянешь, а я все равно уверен, он все видит и слышит и наверняка куда-то сообщает. И если вдруг доложит, что Персике не умеют держать язык за зубами, что они народ ненадежный, что им нельзя ничего доверить, – нам как. По крайней мере тебе, папаша, и я палец о палец не ударю, чтоб тебя вызволить, из концлагеря, или из Моабита, или из Плётце, или куда уж там тебя упекут.

Все молчат, и даже задавала Бальдур чувствует, что не у всех это молчание – знак согласия. Поэтому он поспешно добавляет, рассчитывая привлечь на свою сторону хотя бы братьев и сестру:

– Мы же не хотим всю жизнь оставаться такими, как папаша, – а как нам этого добиться? Только через партию! Потому и действовать мы должны, как фюрер: морочить дуракам голову, общаться с ними по-дружески, а потом, когда никто не ждет, раз – и дело в шляпе. Пускай партия знает: на Персике всегда можно положиться, всегда и во всем!

Он вновь глядит на фото со смеющимися Гитлером и Герингом, коротко кивает и наливает всем шнапсу в знак того, что политический доклад закончен. Потом смеясь говорит:

– Ну чего ты, папаша, губы надул – подумаешь, разок правду услышал!

– Тебе ж всего шестнадцать, и ты мой сын, – начинает старикан, по-прежнему обиженный.

– А ты – мой папаша, и я слишком часто видел тебя вдрызг пьяным, чтоб питать к тебе особую симпатию, – тотчас обрывает его Бальдур Персике и таким манером завоевывает публику, даже вечно запуганную мать. – Да ладно тебе, папаша, мы еще покатаемся на собственном авто, а у тебя каждый день шампанского будет хоть залейся, лакай сколько влезет!

Отец опять порывается что-то возразить, правда, на сей раз только против шампанского, которое для него в сравнение не идет с пшеничным шнапсом. Но Бальдур поспешно продолжает, уже тише:

– Задумки у тебя, папаша, неплохие, только вот говорить про них надо с нами, а больше ни с кем. Розенталиху, пожалуй, и впрямь потряхнуť не помешает, но кофея с пирогом маловато будет. Дайте мне подумать, тут надо аккуратнее. Может, и другой кто уже пронюхал, у кого картишки на руках получше, чем у нас.

Голос у него все понижался и под конец стал почти не слышен. Опять Бальдур Персике добился своего, всех переубедил, даже отца, который поначалу было оскорбился.

– За капитуляцию Франции! – говорит Бальдур, а поскольку он при этом со смехом хлопает себя по ляжкам, все понимают, что в виду имеется совсем другое, а именно старуха Розенталь.

Все громко хохочут, чокаются и пьют, рюмку за рюмкой. Ничего, у бывшего кабатчика и его отпрысков головы крепкие.

Глава 3

Человек по фамилии Баркхаузен

Выходя из парадного на Яблонскиштрассе, сменный мастер Квангель наткнулся на Эмиля Баркхаузена. Похоже, у этого Эмиля Баркхаузена другого занятия в жизни нет, как болтаться без дела там, где есть на что поглазеть и чего послушать. Причем тут ни война ничего не изменила, ни принудительное направление на работы, ни трудовая повинность: Эмиль Баркхаузен продолжал бездельничать.

Долговязый, тощий, в потрепанном костюме, он стоял возле парадного и с досадой на бесцветной физиономии смотрел на Яблонскиштрассе, в этот час почти безлюдную. При виде Квангеля он оживился, шагнул к нему, протянул руку:

– Далеко ли собрались, Квангель? На фабрику-то вам еще не время, а?

Не глядя на протянутую руку, Квангель буркнул:

– Я спешу! – уже на ходу, направляясь в сторону Пренцлауэр-аллее. Только этого назойливого болтуна ему не хватало!

Однако от Баркхаузена так просто не отделаешься.

– Тогда нам по пути, Квангель! – с блеющим смешком воскликнул он, а поскольку Квангель, упорно глядя прямо перед собой, торопливо шагал дальше, добавил: – Доктор прописал мне побольше двигаться, чтоб запоры не мучили, а одному гулять скучно!

Он принялся многословно, во всех подробностях расписывать, что именно предпринимал от запора. Квангель не слушал. В голове крутились, снова и снова вытесняя одна другую, две мысли – что у него больше нет сына и что Анна сказала: ты и твой фюрер. Квангель признавал, что никогда не любил мальчика так, как должно отцу любить сына. С самого рождения видел в ребенке лишь помеху своему покою и отношениям с Анной. И если теперь все же испытывал боль, то потому, что с тревогой думал об Анне, как она воспримет эту смерть и сколько всего от этого изменится. Анна ведь уже сказала ему: ты и твой фюрер!

Неправда. Гитлер не его фюрер или, вернее, такой же его, как и Анны. Оба соглашались, что, когда в 1930-м его маленькая столярная мастерская обанкротилась, именно фюрер вытащил их из ямы. После четырех лет безработицы Квангель стал сменным мастером на большой мебельной фабрике и каждую неделю приносил домой свои сорок марок. Этих денег им вполне хватало. И все благодаря фюреру, который снова поставил экономику на ноги. Тут у них никогда не было разногласий.

Однако в партию они все-таки не вступили. Во-первых, жалели денег на партийные взносы, ведь и так с кровью отрываешь то на одно, то на другое – на «зимнюю помощь»⁷, на всякие пожертвования, на «Трудовой фронт». Н-да, на фабрике ему еще и должностишку в «Трудовом фронте» предложили, и как раз это было истинной причиной, по которой оба они не вступили в партию. Ведь он видел, что между просто немцем и членом партии – большая разница. Распоследний партиец почему-то оказывается ценнее наилучшего из соотечественников. Если ты состоишь в партии, то, по сути, можешь вытворять что угодно: все тебе сойдет с рук. Это они называли – верность за верность.

Но он, сменный мастер Отто Квангель, стоял за справедливость. Каждый человек был для него человеком, а партийный он, нет ли – тут совершенно ни при чем. Когда в цеху он снова и снова видел, что одному за малейший дефект детали устраивали нахлобучку, а другой давал сплошной брак – и ничего, его всякий раз охватывало возмущение. Он прикусывал нижнюю

⁷ «Зимняя помощь» (полностью «Зимняя помощь немецкому народу») – благотворительная кампания, «чтобы никто не мерз и не голодал», проводившаяся в Германии с 1931 по 1945 г. с октября по март. Активное участие в сборе средств принимали члены гитлерюгенда. Во время войны значительная часть собранных средств отчислялась вермахту.

губу и яростно ее жевал – если бы мог, он бы давным-давно бросил и эту должностишку в «Трудовом фронте»!

Анна прекрасно об этом знала, и как только у нее язык повернулся сказать такое: ты и твой фюрер! Правда, с Анной обстояло совершенно иначе, она вполне добровольно взяла на себя должность во «Фрауэншафте», не поневоле, как он. Господи, он конечно же понимал, как с ней получилось. Всю жизнь она работала простой прислугой, сперва в деревне, потом здесь, в городе. Всю жизнь была на побегушках, всю жизнь ею кто-нибудь помыкал. Дома она тоже голоса особо не имела: не то чтобы Отто Квангель очень уж командовал, но он был кормильцем и главой семьи.

Теперь же, занимая должность во «Фрауэншафте», она, разумеется, получала приказы сверху, но и у нее в подчинении находилось множество девушек, женщин и даже дам, выполнявших ее приказы. Ей прямо удовольствие доставляло разыскать очередную нерадивую бездельницу с красными лакированными ноготками и отправить ее на фабрику. Если о ком из Квангелей и можно было сказать «ты и твой фюрер», то первым делом об Анне.

Да-да, конечно, она тоже давным-давно поняла – не все так гладко, заметила, например, что кой-кого из этих избалованных дамочек на фабрику не отправишь, поскольку у них есть весьма влиятельные друзья в верхах. Или возмущалась, что при распределении теплого белья доставалось оно всегда одним и тем же людям – обладателям партийных билетов. Вдобавок Анна считала, что Розентали – люди добропорядочные и не заслуживают такой участи, однако при всем при том не думала отказываться от своей должности. Не так давно она говорила, что фюрер наверняка знать не знает, какие безобразия тут вытворяют его люди. Фюрер не может знать все, и его попросту обманывают.

Но теперь вот Отти погиб, и Отто Квангель с тревогой чувствует, что отныне все изменится. Перед глазами у него стоит больное, изжелта-бледное лицо Анны, он снова слышит ее обвинение и вышел из дому в неурочный час, к тому же в компании этого болтуна Баркхаузена, а вечером к ним придет Трудель, будут слезы, бесконечные разговоры – а он, Отто Квангель, так дорожит размеренной жизнью, раз и навсегда заведенным расписанием рабочего дня, и лучше – чтобы без особых событий. По воскресеньям ему даже как-то не по себе. Ну а теперь какое-то время все пойдет кувырком, да, пожалуй, Анна вообще никогда не станет такой, как прежде. Ведь эти слова, «ты и твой Гитлер», вырвались из самой глубины ее души. В них звучала ненависть.

Ему необходимо все тщательно обдумать еще раз, да только Баркхаузен не дает. Ни с того ни с сего говорит:

– Вы нынче, что ли, письмо с фронта получили, и вроде не от вашего Отто?

Квангель переводит взгляд своих пронзительных темных глаз на спутника и бормочет:

– Балабол! – А поскольку затевать свару ему неохота, даже с таким пустым человеком, как бездельник Баркхаузен, он поневоле добавляет: – Слишком много люди болтают!

Эмиль Баркхаузен не обижается, Баркхаузена так легко не обидишь, он с жаром поддакивает:

– Это вы, Квангель, точно подметили! Почему эта Клуге, почтальонша, не умеет держать язык на привязи? Непременно всем надо раззвонить: Квангели получили с фронта письмо, написанное на машинке! Мало ей рассказать, что Франция капитулировала! – На секунду он умолкает, потом спрашивает вполголоса непривычно, участливо: – Ранен, без вести пропал – или?..

И опять умолкает. А Квангель – после продолжительной паузы – отвечает на его вопрос обиняком:

– Франция, стало быть, капитулировала? Нет бы спокойно сдаться днем раньше, тогда бы мой Отто был жив...

Баркхаузен живо отзывается:

– Так ведь как раз оттого, что сколько-то тысяч погибли геройской смертью, Франция и капитулировала так быстро. Оттого многие миллионы остались живы. Этакой жертвой отец должен гордиться!

– Вашим-то, сосед, пока рановато на фронт? – интересуется Квангель.

Баркхаузен прямо-таки оскорблен:

– Будто не знаете, Квангель! Но кабы они все разом померли, от бомбы или еще отчего, я бы только гордился. Вы что же, Квангель, не верите?

Сменный мастер молчит, однако думает: если уж я неважнецкий отец и не любил Отто так, как надо бы, то для тебя ребятишки твои попросту обуза. Так что верю, ты был бы только рад, чтобы их в одночасье бомбой убило, ей-богу, верю!

Но вслух он ничего такого не говорит, а Баркхаузен, которому уже наскучило ждать ответа, продолжает:

– Нет, вы прикиньте, Квангель, сперва Судетская область, да Чехословакия, да Австрия, а теперь вот Польша и Франция и половина Балкан – мы же становимся богатейшей нацией на свете! Какая-то пара сотен тысяч погибших не в счет! Мы все разбогатеем!

Квангель отвечает против обыкновения быстро:

– И куда мы это богатство денем? Съесть я его не съем! Опять же и спать крепче не стану, коли разбогатею! Ну, не буду ходить на фабрику, богачу это без надобности, только вот чем стану заниматься целыми днями? Не-ет, Баркхаузен, я богатеть не хочу, а уж таким образом тем более! Подобное богатство не стоит и одного погибшего!

Баркхаузен вдруг хватается за плечо, глаза у него сверкают, он встряхивает Квангеля, торопливо шепчет:

– Как ты можешь этак говорить, Квангель? Знаешь ведь, за эти слова я тебя в концлагерь упечь могу! Ты ж аккурат против нашего фюрера высказался! Будь я доносчик и сообщи куда следует...

Квангель и сам испугался собственных слов. Вся эта штука с Отто и Анной явно выбила его из колеи куда сильнее, чем он до сих пор думал, иначе врожденная, неусыпная осторожность никогда бы ему не изменила. Но Баркхаузену он своего испуга не показывает. Железной натруженной рукой высвобождает плечо из вялой хватки соседа и произносит медленно и равнодушно:

– Что вы так нервничаете, Баркхаузен? Что я такого сказал, что вы могли бы сообщить? Да ничего. Мне грустно, потому что мой сын Отто погиб и моя жена очень горюет. Можете сообщить об этом, коли вам охота, а коли впрямь есть охота, так и заявите на меня! Я пойду с вами и все подпишу!

Произнося эту непривычно пространную речь, Квангель думает: провалиться мне на этом месте, если Баркхаузен не шпик! Еще один, кого надо остерегаться! А кого теперь не надо остерегаться? Как с Анной будет, я тоже не знаю...

Тем временем они добрались до ворот фабрики. Квангель и теперь не подает Баркхаузену руки. Просто говорит «Пока!» и намеревается войти.

Но Баркхаузен, ухватив его за куртку, с жаром шепчет:

– Сосед, что было, то было, не будем об этом. Я не шпик и никому беды не желаю. Только сделай для меня доброе дело: нужно дать жене денег на продукты, а в кармане ни гроша. Детишки нынче ничегошеньки не ели. Одолжи десять марок – в следующую пятницу непременно верну, ей-богу!

Квангель, как и раньше, высвобождается из его хватки. И думает: ах, вот ты каков, вот как денежки зарабатываешь! Ну уж нет, ни единого гроша не дам, а то ведь решит, что я его боюсь, и никогда не отвяжется. Вслух он говорит:

– Я зарабатываю всего-навсего тридцать марок в неделю, и каждая марка нужна мне самому. Нет у меня для тебя денег.

Больше ни слова, ни взгляда – он входит в фабричные ворота. Вахтер его знает и пропускает без вопросов.

Баркхаузен остается на улице, глядит ему вслед и прикидывает, что теперь делать. Он бы, конечно, с удовольствием пошел в гестапо и заявил на Квангеля, сигаретка-другая непременно бы обломила. Но лучше погодить. И так он нынче поспешил, надо было дать Квангелю высказаться до конца; после смерти сына тот наверняка много чего наговорил бы.

Недооценил он Квангеля, того на испуг не возьмешь. Нынче многие боятся, да в общем-то все, потому что все делают где-нибудь что-нибудь запрещенное и вечно тревожатся, как бы кто об этом не прознал. Главное – в подходящий момент захватить их врасплох, тогда они у тебя на крючке, тогда раскошеляются. Но Квангель этот, мужик с острым лицом хищной птицы, не таков. Он, видать, ничего не боится, а врасплох его и вовсе не застать. Н-да, на этом мужике денег не наваришь, может, в ближайшие дни удастся жену его заарканить, ведь женщину смерть единственного сына вконец с катушек сбивает! А тогда баба может много чего наболтать.

Значит, в ближайшие дни он займется женой Квангеля – но теперь-то как быть? В самом деле надо ведь подкинуть Отти денег, нынче утром он украдкой подъял из буфета последний хлеб. Но денег нету, да и где их по-быстрому раздобудешь? А жена у него просто ведьма, мигом превратит ему жизнь в сущий ад. Раньше она трудилась на панели, на Шёнхаузер-аллее, и порой бывала очень даже мила. Теперь у них пятеро сорванцов, то есть большинство, конечно, навряд ли от него, а бранится она как базарная торговка. Вдобавок дерется, чертова кукла, ребятню лупит, ну, заодно и ему перепадает, а тогда случается небольшая потасовка, в которой всегда больше достается самой Отти, но ума ей это не прибавляет.

Нет, к Отти без денег идти нельзя. И вдруг на ум Баркхаузену приходит старуха Розенталь, которая теперь одна-одинешенька, без всякой защиты, живет на Яблонскиштрассе, 55, на пятом этаже. Как же он раньше-то не вспомнил про старуху-еврейку, от нее побольше проку будет, чем от старого черта Квангеля! Розенталиха – тетка добрая, это ему давно известно, еще с тех пор, когда они держали бельевой магазин, так что начнет он с ней по-хорошему. А заартачится старуха, так получит по башке, и вся недолга! Что-нибудь у ней наверняка найдется, цапка какая, или деньжата, или харчи – что угодно, лишь бы Отти сменила гнев на милость.

Пока Баркхаузен этак вот размышляет, снова и снова представляя себе, что ему там обломится – у евреев-то барахла по-прежнему завалилось, только прячут они его от немцев, у которых наворовали, – пока Баркхаузен этак вот размышляет, он спешит обратно, на Яблонскиштрассе. Войдя в парадное, долго прислушивается. Неохота ему попадаться на глаза обитателям переднего дома, сам-то он живет в заднем корпусе, попросту говоря – во флигеле, в полуподвале, по-культурному – в сутеррене. Сам он из-за этого не переживает, только перед людьми иной раз неловко.

На лестнице все спокойно, и Баркхаузен начинает быстро, но беззвучно подниматься по ступенькам. В квартире у Персике дым коромыслом, улюлюканье, хохот, опять гулянка. С такими, как Персике, не мешало бы законтачить, у них связи что надо, глядишь, и ему что-нибудь перепадет. Хотя они, понятное дело, шпика на случайных приработках вроде него в упор не видят; особенно парни из СС и Бальдур ужас как нос задирают. Старик, тот попроще, иной раз, когда в подпитии, сунет ему пятерку от щедрот...

В квартире Квангелей тишина, и этажом выше, у старухи Розенталь, тоже ни звука не слышать, сколько Баркхаузен ни прижимается ухом к двери. В конце концов он звонит, быстро и деловито, ну, скажем, как почтальон, который спешит разнести письма и все такое.

Однако ничего не происходит, и, подождав минуту-другую, Баркхаузен решает позвонить второй раз, а потом и третий. В промежутках он прислушивается, ничего не слышит, но все-таки шепчет в замочную скважину:

– Госпожа Розенталь, откройте! Я принес весточку от вашего мужа! Быстренько, пока никто не видит! Госпожа Розенталь, я же вас слышу, открывайте!

Он звонит снова и снова, но без малейшего результата. В конце концов его охватывает злость. Нельзя же и отсюда уйти несолоно хлебавши, Отти закатит жуткий скандал. Пускай выкладывает старая жидовка, что у него уворовала! Он яростно звонит, а в промежутках кричит в замочную скважину:

– Отворяй, свинья жидовская, или я начищу тебе харю, так что зенки больше не откроешь! Нынче же упеку тебя в концлагерь, коли не отворишь, сволочь окаянная!

Будь у него с собой бензин, он бы прямо сейчас подпалил дверь старой перечнице!

Вдруг Баркхаузен замирает. Где-то внизу открылась квартира, и он тесно прижимается к стене. Лишь бы его не увидели! Да нет, люди просто на улицу идут, надо всего-навсего затаиться и переждать.

Однако шаги приближаются – вверх по лестнице, неумолимо, хотя медленно, спотыкаясь. Наверняка один из Персике, а Баркхаузену сейчас только пьяного Персике и не хватало. Наверняка ведь тот на чердак собрался, но на чердак ведет железная дверь, и она заперта, не спрячешься. Одна надежда, что пьяный, не заметив его, пройдет мимо; если это старик Персике, такое вполне возможно.

Но это не старик Персике, а паршивец Бальдур, самый дрянной из всей шайки! Напялит форму гитлерюгенда, шляется вокруг и ждет, чтоб ты с ним первый поздоровался, хоть он покуда вообще ноль без палочки. Бальдур медленно одолевает последние ступеньки, крепко держась за перила, поскольку здорово набрался. Само собой, несмотря на стеклянные глаза, он давно заметил припавшего к стене Баркхаузена, но разговор начинает, только остановившись прямо перед ним:

– Ты чего тут вынюхиваешь, а? Я этого не потерплю, живо катись в подвал к своей шлюхе! Марш отсюда!

Бальдур поднимает ногу в кованом ботинке, но тотчас ставит ее на пол: для пинка он слишком нетвердо стоит на ногах.

Такого тона Баркхаузен просто не выносит. Когда на него орут, он мгновенно съеживается от страха. Униженно шепчет:

– Простите, пожалуйста, господин Персике! Я только шутку сыграть хотел со старой жидовкой!

От напряженных размышлений Бальдур наморщивает лоб. Немного погодя говорит:

– Задумал, падла, старую жидовку обокрасть, вот и вся шутка. Ну, вперед!

Сказано грубо, но, без сомнения, уже благосклоннее; такие вещи Баркхаузен ловит на лету. Потому и говорит с улыбкой, как бы извиняясь:

– Так ведь я не краду, господин Персике, так только, подтибриваю!

Бальдур Персике на улыбку не отвечает. С подобной публикой он не якшается, хотя иной раз это бывает полезно. Он лишь осторожно спускается по лестнице следом за Баркхаузенем.

Занятые собственными мыслями, оба не замечают, что дверь в квартиру Квангелей лишь прикрыта. И опять открывается, как только они минуют площадку. Анна Квангель бесшумно подбегает к перилам, прислушивается.

У дверей Персике Баркхаузен вскидывает руку в германском приветствии:

– Хайль Гитлер, господин Персике! Премного вам благодарен!

За что благодарен, он и сам толком не знает. Может, за то, что не получил пинка под зад и не скатился с лестницы. Ведь ему, мелкой шавке, пришлось бы и это стерпеть.

Бальдур Персике на приветствие не отвечает. Таращит на Баркхаузена стеклянные глаза, и немного погодя тот начинает моргать и опускает взгляд.

– Значит, шутку хотел сыграть со старухой Розенталь? – спрашивает Бальдур.

– Да, – тихо говорит Баркхаузен, не поднимая глаз.

– А какую шутку? – допытывается Бальдур. – Стырил-смылся?

Собравшись с духом, Баркхаузен взглядывает в лицо собеседнику:

– Ох! Я бы ей харю надраил!

– Так-так! – коротко роняет Бальдур.

Секунду-другую оба молчат. Баркхаузен прикидывает, можно ли уйти, хотя приказа «идите!» он вообще-то пока не получил. Вот и ждет молча, снова опустив глаза.

– Ну-ка, зайди! – неожиданно говорит Персике, язык у него явно ворочается с трудом. Вытянув палец, он показывает на открытую дверь своей квартиры. – Пожалуй, надо еще кое-что тебе сказать. Поглядим!

Повинуясь указующему персту, Баркхаузен входит в квартиру. Бальдур Персике следует за ним – чуть пошатывается, но выправку держит. Дверь за обоими захлопывается.

Наверху Анна Квангель отходит от перил, крадется в свою квартиру и осторожно закрывает за собою дверь. Зачем она подслушивала разговор этой пары, сперва у квартиры Розентальши, а потом внизу, у дверей Персике, она и сама не знает. Обычно она целиком и полностью следует мужнину правилу: не лезть в дела соседей. Лицо Анны Квангель по-прежнему болезненно-бледно, воспаленные веки подрагивают. Уже несколько раз ей хотелось сесть и поплакать, но ничего не выходит. В голове крутятся выражения вроде «Сердце у меня сжимается», или «Прямо обухом по голове», или «Все нутро скрутило». Отчасти она чувствует все это, но вдобавок еще и вот что: «Смерть моего мальчика им даром не пройдет. Я могу быть и совсем другой...»

Опять-таки она не знает, что подразумевает под «быть другой», но, возможно, это подслушивание уже означает начало перемен. Больше Отто не будет все решать в одиночку, думает она. Я тоже могу поступать так, как хочу, даже если ему и не понравится.

Она усердно принимается застряпню. Продукты, какие оба получают по карточкам, большей частью достаются ему. Он уже немолод, а на фабрике вынужден выкладываться; она-то шьет, работа сидячая, так что все честно.

Пока Анна возится с кастрюлями, Баркхаузен покидает квартиру Персике. Когда он спускается по лестнице, в его осанке нет и следа недавнего подбострастия. Баркхаузен шагает через двор расправив плечи, в желудке приятное тепло от двух рюмок шнапса, а в кармане две десятимарковые купюры, одна из которых умаслит сердитую Отти.

Но когда он входит в полуподвальную комнату, Отти отнюдь не сердита. На столе белая скатерть, а Отти сидит на диване с каким-то незнакомым Баркхаузену мужчиной. Незнакомец, одетый совсем даже недурно, поспешно отдергивает руку с плеч Отти. Мог бы и не отдергивать, в таких вещах Баркхаузен щепетильностью никогда не отличался.

Глянь, кого подцепила старая оторва! – думает он. Банковский служащий, не иначе, или учитель...

На кухне ревут-визжат ребятишки. Баркхаузен раздает им по толстому ломтю хлеба, что лежит в комнате на столе. Потом и сам садится завтракать, ведь и хлеб, и колбаса, и шнапс – все есть. По крайней мере, хоть какая-то польза от такого фраера! Он бросает удовлетворенный взгляд на мужчину на диване. Тот, судя по всему, чувствует себя не так уютно, как Баркхаузен.

Поэтому Баркхаузен, немного подкрепившись, спешит уйти. Боже упаси отпугнуть клиента Отти! Чем плохо-то – теперь все двадцать марок остались у него. Баркхаузен направляет стопы на Роллерштрассе: по слухам, есть там пивнушка, где народ по легкомыслию не в меру распускает язык. Вдруг что-нибудь да выгорит. Теперь в Берлине рыбешка повсюду ловится. Не днем, так ночью.

При мысли о ночи Баркхаузен даже усмехается в свои висячие усы. Этот Бальдур Персике, вся семейка Персике, ох и шайка! Но его они не обжулят, нет! Пусть не воображают, будто купили его с потрохами за двадцать марок да за две рюмашки шнапса. Дайте срок, при-

дет времечко, когда он всех этих Персике за пояс заткнет. Главное, не лезть сейчас на рожон, действовать хитро.

Тут Баркхаузен вспоминает, что еще до ночи надо разыскать Энно; для предстоящего дела Энно, пожалуй, аккурат сгодится. Ну да ничего, разыщет он этого Энно. Тот каждый день обходит всего три-четыре пивнушки, где собираются мелкие игроки на бегах. Как Энно зовут по-настоящему, Баркхаузен понятия не имеет. Знает его лишь по пивнушкам, где все кличут его Энно. Ладно, найдем его, может, и впрямь человек подходящий.

Глава 4

Трудель Бауман проговаривается

На фабрику Отто Квангель прошел с легкостью, а вот упросить, чтобы ему позвали Трудель Бауман, оказалось куда труднее. Дело в том, что здесь – впрочем, как и на фабрике Квангеля – работают не просто сдельно: каждый цех должен еще и дневную норму выдать, так что зачастую любая минута на счету.

Но в результате Квангель все же добился своего, в конце концов, один сменный мастер всегда поймет другого. Коллеге так просто не откажешь, особенно если у него погиб сын. Чтобы увидеть Трудель, Квангелю пришлось-таки об этом сказать. Следовательно, он и ей должен сообщить сам, вопреки просьбе жены, иначе сменный мастер все равно ей расскажет. Только бы обошлось без слез, а главное, без обмороков. Просто уму непостижимо, как Анна-то выдержала, – ладно, Трудель тоже крепко стоит на ногах.

Ну наконец-то, вон она идет, и Квангель, у которого за всю жизнь был один-единственный роман, с собственной женой, поневоле отмечает: ничего не скажешь, красotka – с курчавой копной непокорных темных волос, круглым личиком, у которого фабричная работа и та не отняла свежих красок, с веселыми глазами и высокой грудью. Даже сейчас, на работе, одетая в длинные синие брюки и старый, штопанный-перештопанный джемпер, весь в обрезках ниток, – даже сейчас красotka. Но самое прелестное в ней, пожалуй, ее походка: прямо пышет жизнью, словно каждый шаг ей в охотку, – жизнерадостность бьет через край.

Просто уму непостижимо, мельком подумал Отто Квангель, что их Отто, этот телок, мамочкин баловень, умудрился отхватить такую роскошную девчонку. Впрочем, тотчас поправляет он себя, что я, собственно, знаю про Отто? Я же никогда к нему толком не приглядывался. Он наверняка был совсем не такой, как я думал. И в приемниках вправду кой-чего смыслил, недаром владельцы мастерских чуть не дрались из-за него.

– Здравствуй, Трудель! – Он протягивает руку, в которую она быстро и энергично вкладывает свою, теплую и мягкую.

– Здравствуй, папа, – отвечает она. – Как там у вас дома? Мамуля опять по мне соскучилась или Отто прислал письмо? В ближайшее время непременно к вам забегу.

– Ты должна зайти сегодня вечером, Трудель. Дело в том, что...

Квангель не договаривает. Трудель меж тем проворно сунула руку в карман синих брюк, достала карманный ежедневник и теперь листает его. Слушает вполуха – неподходящее время, чтобы сообщать ей такую весть. И Квангель терпеливо ждет, пока она найдет то, что ищет.

Встреча происходит в длинном коридоре, где гуляют сквозняки и беленые стены сплошь облеплены плакатами. Квангель невольно взглядывает на плакат за спиной Трудель. Прочитывает несколько слов, напечатанных жирными заглавными буквами: «Именем немецкого народа», – затем три фамилии и еще: «За измену родине и государству приговорены к смерти через повешение. Казнь состоялась сегодня утром в тюрьме Плётцензее».

Совершенно произвольно он хватается Трудель обеими руками за плечи и отодвигает в сторону от плаката.

– Что такое? – удивленно спрашивает она, потом, проследив его взгляд, тоже читает плакат. У нее вырывается звук, который может означать что угодно: возмущение прочитанным, недовольство действиями Квангеля, безразличие; так или иначе, на прежнее место она не возвращается. Прячет ежедневник в карман и говорит:

– Сегодня вечером никак не получится, папа, но завтра часиков в восемь буду у вас.

– Надо прийти сегодня, Трудель! – возражает Отто Квангель. – Извещение пришло насчет Отто. – Взгляд его стал еще пронзительнее, он видит, как смех в ее глазах гаснет. – Отто погиб, вот в чем дело, Трудель.

Странно, то же глубокое «О-о!...», что вырвалось при этом известии у Отто Квангеля, теперь вырывается из груди Трудель. Секунду девушка видит Квангеля как сквозь туман, губы дрожат; потом она отворачивается лицом к стене, утыкается в нее лбом. Плачет, но беззвучно. Квангель видит, как дрожат ее плечи, но не слышит ни звука.

Мужественная девочка! – думает он. Как же она все-таки любила Отто! Да и он был по-своему мужественным, никогда не действовал заодно с этими сволочами, не дал гитлерюгенду науськать себя против родителей, никогда не рвался в солдаты, а войну не одобрял. Ох эта окаянная война!

Он замирает, напуганный собственной мыслью. Неужто и он тоже меняется? Вот подумал, считай, аккуратно то же, что и Анна, когда сказала «ты и твой Гитлер!».

Потом он замечает, что Трудель упирается лбом в тот самый плакат, от которого он только что ее отодвинул. Над головой у нее жирная надпись: «Именем немецкого народа», лоб заслоняет имена трех повешенных...

И вдруг Квангелю видится другой плакат, с именами его, и Анны, и Трудель. Он недовольно встряхивает головой. Простой работяга вроде него хочет всего-навсего жить в покое и о политике знать ничего не желает, Анна занята домашним хозяйством, а такая красоточка, как Трудель, скоро найдет себе нового друга...

Но видение упрямо – так и стоит перед глазами. Наши имена на стене, думает он, уже в полном смятении. А собственно, почему нет? Ведь умереть на виселице несколько не хуже, чем быть разорванным миной или сдохнуть от ранения в живот! Это все не важно. Важно только одно: я должен доискаться, что за штука с этим Гитлером. Поначалу-то все вроде было хорошо, а теперь вдруг все скверно. Я вдруг вижу только гнет, и ненависть, и насилие, и страдание, так много страдания... Сотни тысяч, сказал этот трусливый шпик, Баркхаузен. Будто все дело в количестве! Если хотя бы один-единственный человек незаслуженно страдает, а я могу это изменить, но ничего не делаю лишь от трусости и любви к покою, тогда...

Дальше он думать не смеет. Бойтся, по-настоящему бойтся, куда может завести подобная мысль, додуманная до конца. Тогда ему, наверно, пришлось бы изменить всю свою жизнь!

Квангель снова смотрит на девушку, над головой которой чернеют буквы: «Именем немецкого народа». Этот плакат совсем не место для слез. Не в силах удержаться, он отводит ее плечо от стены и говорит как можно мягче:

– Пожалуйста, Трудель, не у этого плаката...

Секунду она недоуменно глядит на заголовок. Глаза уже сухие, плечи не вздрагивают. Потом взгляд вновь загорается, но не прежним веселым блеском, каким светился, когда она вышла в коридор, а странным, мрачным огнем. Решительно и вместе с тем ласково она кладет руку на слово «повешение».

– Я никогда не забуду, папа, что плакала по Отто возле такого объявления. Может – не хотелось бы, но может статься, – однажды на подобной бумажке будет стоять мое имя.

Она смотрит на него не мигая. Кажется, сама толком не понимает, что говорит.

– Девочка! – испуганно восклицает Квангель. – Опомнись! Ты и этакое объявление... Ты молода, у тебя вся жизнь впереди. Ты снова будешь смеяться, заведешь детей...

Трудель упрямо качает головой.

– Я не заведу детей, пока не буду уверена, что их не убьют. Пока хоть один генерал может им скомандовать: на бойню шагом марш!.. Папа, – продолжает она, крепко сжимая его руку, – папа, ты вправду можешь жить, как раньше, теперь, когда они убили твоего Отто?

Она всматривается ему в глаза, и он опять противится чуждому, незнакомому, что норовит проникнуть в сознание, бормочет:

– Французы...

– Французы! – возмущенно восклицает Трудель. – По-твоему, это оправдание? А кто напал на французов? Ну, папа, кто? Скажи!

– Но что мы можем сделать? – отчаянно отбивается Отто Квангель. – Нас-то раз-два и обчелся, а за ним многие миллионы, тем более теперь, после победы над Францией. Ничего мы сделать не можем!

– Нет, можем, и много! – с жаром шепчет она. – Мы можем портить станки, можем работать плохо и медленно, можем срывать их плакаты и расклеивать наши, которые скажут людям, как их обманывают. – И еще тише: – Но самое главное – мы не такие, как они, и никогда не станем такими, не станем думать, как они. Не станем нацистами, пусть даже они завоюют весь мир!

– Ну и чего мы этим добьемся, Трудель? – тихо спрашивает Отто Квангель. – Я не вижу, чего мы этим добьемся.

– Папа, – отвечает она, – поначалу я тоже не понимала, да и сейчас еще до конца не понимаю. Но знаешь, мы тут на фабрике организовали тайную коммунистическую ячейку, пока совсем маленькую, трое парней и я. Вот один из них и пробовал мне объяснить. Мы, сказал он, вроде как доброе семя на поле, заросшем сорняками. Не будь доброго семени, сорняки бы все собой заполонили. А доброе семя может распространиться...

Девушка вдруг умолкает, будто ужаснувшись.

– Что с тобой, Трудель? – спрашивает Квангель. – Насчет доброго семени – неплохая мысль. Я подумаю об этом, в ближайшее время мне надо очень о многом подумать.

А она со стыдом и раскаянием говорит:

– Ну вот, проболталась все-таки насчет ячейки, хотя поклялась молчать!

– Об этом не тревожься, Трудель, – говорит Отто Квангель, и его спокойствие невольно передается перепуганной девушке. – Отто Квангель этикие слова в одно ухо впускает, а в другое выпускает. Знать ничего не знаю. – Теперь он смотрит на плакат с мрачной решимостью. – Пускай хоть все гестапо заявится, я ничего не слышал. И, – прибавляет он, – если хочешь и если тебе так спокойнее, с этой минуты мы незнакомы. И приходите к Анне нынче вечером тебе незачем, я ей как-нибудь объясню, но про это ни слова не скажу.

– Нет, – отвечает Трудель с прежней решительностью. – Нет. К мамочке я сегодня вечером зайду. Но обязательно скажу остальным, что проболталась, и, возможно, кто-нибудь допросит тебя, чтобы проверить, надежный ли ты человек.

– Пусть только придут! – угрожающе произносит Отто Квангель. – Я ничего не знаю. Политикой никогда в жизни не интересовался. До свидания, Трудель. Наверно, сегодня уже не увидимся, я ведь редко возвращаюсь с работы раньше полуночи.

Она подает ему руку, потом уходит по коридору, к себе в цех. Походка уже не такая счастливая, но по-прежнему исполненная силы. Хорошая девочка, думает Квангель. Мужественная!

Потом он стоит один в коридоре с плакатами, тихонько шуршащими от вечного сквозняка. Собирается уходить. Но прежде, к собственному удивлению, кивает плакату, у которого плакала Трудель, кивает с мрачной решимостью.

Секунду спустя ему уже стыдно своего порыва. Дурацкое кривлянье! Он уходит домой. Времени в обрез, приходится даже сесть на трамвай, чего он терпеть не может по причине бережливости, иной раз граничащей со скупердяйством.

Глава 5

Возвращение Энно Клуге

К двум часам дня почтальонша Эва Клуге разнесла всю корреспонденцию. Потом без малого до четырех сверяла почтовые переводы и квитанции: от усталости она путала цифры, и приходилось перепроверять. Когда она наконец отправилась домой, ноги гудели, а в голове царила болезненная пустота; даже думать не хотелось о том, сколько всего еще надо сделать, прежде чем ляжешь спать. По дороге Эва отоварила карточки; у мясника пришлось довольно долго стоять в очереди, так что было уже почти шесть, когда она медленно поднялась по лестнице в свою квартиру в районе Фридрихсхайн.

На площадке у ее двери стоял малорослый мужчина в светлом пальто и жокейской кепке. Лицо бесцветное, совершенно невыразительное, веки слегка воспаленные, глаза блеклые, такие лица сразу же забываешь.

– Энно?! – испуганно воскликнула Эва Клуге и машинально покрепче зажала в руке ключи. – Чего тебе тут надо? У меня нет ни денег, ни еды, и в квартиру я тебя не пушу!

Коротышка успокаивающе махнул рукой:

– Зачем с ходу этак волноваться, Эва? Зачем с ходу этак сердать? Я только хотел сказать тебе «здравствуй», Эва. Здравствуй, Эва!

– Здравствуй, Энно! – ответила она, но с неохотой, потому что мужа своего знала как облупленного. Подождала, потом коротко и зло рассмеялась: – Ну вот, поздоровались, как ты хотел, Энно, а теперь можешь идти. Но, как я погляжу, уходить ты не собираешься, так чего тебе надо, на самом-то деле?

– Видишь ли, Эвочка, – лстиво начал он. – Ты женщина умная, с тобой и потолковать не грех... – И принялся обстоятельно расписывать, что больничная касса прекратила платежи, так как он выбрал все двадцать шесть недель бюллетеней. Стало быть, придется идти на работу, не то опять закатают в вермахт, откуда его и послали на фабрику, он же механик по точным работам, а такие всегда в дефиците. – В общем, так вышло, – заключил он свои объяснения, – что в ближайшие дни мне нужно постоянное местожительство. Вот я и подумал...

Эва Клуге энергично помотала головой. Она с ног падала от усталости и ужасно хотела попасть в квартиру, где ее ожидала уйма работы. Но Энно в квартиру не войдет, ни за что, пусть ей даже придется стоять тут до глубокой ночи.

– Не говори пока «нет», Эвочка, – поспешно, однако все так же бесцветно сказал он, – я еще не закончил. Клянусь, мне ничего от тебя не нужно, ни денег, ни еды. Позволь только ночевать на кушетке. Даже постельного белья не надо. Я не буду тебе в тягость.

Она опять помотала головой. Пора бы уж ему замолчать, знает ведь, что она ни единому его слову не верит. Никогда он не держал своих обещаний.

– Что ж ты не пойдешь к какой-нибудь из своих подружек? Обычно они тебя вполне устраивают!

Он покачал головой:

– Завязал я с бабами, Эвочка, больше ни-ни, хватит с меня. Если подумать, лучше тебя, Эвочка, никого не было. Мы ведь хорошо жили, раньше, когда мальчишки еще были маленькие.

При воспоминании о первых годах брака ее лицо невольно просветлело. Они и впрямь жили хорошо, он тогда работал по специальности, каждую неделю приносил домой свои шестьдесят марок, а лодырничать и в мыслях не имел.

Энно Клуге немедля углядел лазейку:

– Вот видишь, Эвочка, ты еще маленько меня любишь и поэтому позволишь спать на кушетке. Обещаю, работенку я мигом подыщу, дело-то для меня не в деньгах. Ненадолго,

только чтоб снова получать пособие по болезни и не загреметь в казармы. Десяти деньков хватит, и мне опять дадут больничный!

Энно умолк, выжидательно глядя на нее. Она не покачала головой, но лицо осталось непроницаемым. И он продолжил:

– На сей раз обойдемся без желудочных кровотечений, потому как в больницах жрать при кровотечениях не дают. На сей раз будут желчные колики. Тут они ничего выявить не могут, разве что рентгеном просветят, а при коликах камни вовсе не обязательны. Могут быть, а могут и нет. Мне все в точности разобъяснили. Верное дело. Только сперва надо десять дней отработать.

Она и теперь не отзывалась ни словом, и он опять завел свое, поскольку твердо верил, что главное – настырность, уболтать можно любого, и в конце концов тот уступит.

– У меня и адресок врача есть, еврейчика с Франкфуртер-аллее, он кому хошь больничный выпишет, лишь бы поменьше беспокойства. Вот с ним я все и обтяпаю: через десять дней буду опять в больнице, и ты от меня отделаешься, Эвочка!

Утомившись от его болтовни, она сказала:

– Можешь хоть до полуночи торчать тут и молоть языком, в дом я тебя не пущу, Энно. Что хошь говори, что хошь делай – не пущу, и точка. Не дам я тебе сызнова все испакостить, с твоей ленью, вечной игрой на бегах да гуляющими бабенками. Сколько раз я тебе верила, но теперь всё, зареклась, шабаш! Сяду прямо здесь, на лестнице, устала я, с шести утра на ногах. Коли хочешь – садись рядом. Охота говорить – говори, а нет, так помалкивай, мне без разницы. Но в квартиру ты не войдешь!

Эва Клуге в самом деле села на верхнюю ступеньку, ту самую, где он ее подждал. В словах ее звучала такая решимость, что Энно уразумел: на сей раз ее ничем не проймешь. Сдвинул жокейскую кепку чуть набекрень.

– Ладно, Эвочка, раз ты упираешься, отказываешь мне даже в этакой малости, притом что знаешь, муж твой в беде, а ведь у тебя было с ним как-никак пятеро ребятишек, трое на кладбище лежат, а двое мальчишек сражаются за фюрера и народ... – Он осекся, болтал-то совершенно машинально, привык в пивнушках молоть языком не закрывая рта, хоть и понял, здесь от болтовни проку нет. – Ладно, тогда я пойду, Эвочка. И знай: я на тебя не в обиде, ты же понимаешь, каков бы я ни был, обид я никогда не держу.

– Потому что тебе все безразлично, не считая игры на бегах, – отзывалась-таки она. – Потому что больше ничего на свете тебя не интересует, потому что ты никого и ничего любить не способен, Энно, даже себя самого. – Она замолчала, ведь говорить с этим человеком совершенно бесполезно. Но немного погодя добавила: – Ты вроде уходить собирался, Энно?

– Да, ухожу, Эвочка, – нежданно-негаданно кивнул он. – Всего тебе хорошего. Я не в обиде. Хайль Гитлер, Эвочка!

– Хайль Гитлер! – машинально ответила она, по-прежнему в твердой уверенности, что с его стороны это прощание не более чем уловка, вступление к очередному бесконечному монологу. Но, к ее безмерному удивлению, он в самом деле больше ничего не сказал и пошел вниз по лестнице.

Минуто-другую Эва сидела на ступеньке, не веря в свою победу. Потом вскочила на ноги, прислушалась. С самого низу отчетливо донеслись его шаги, он не спрятался, а вправду ушел! Вот и входная дверь хлопнула. Дрожащей рукой она отперла квартиру, настолько взбудораженная, что даже не сразу попала ключом в замочную скважину. Войдя, она заперла дверь, закрыла на цепочку и рухнула в кухне на стул. Тело обмякло, недавний поединок отнял последние силы. Из нее словно все соки выжали, ткни пальцем – и она со стула упадет.

Но мало-помалу силы возвращались. Все же сумела она поставить на своем, ее воля одолела его тупое упорство. Она сохранила дом для себя, для себя одной. Не будет он сызнова

торчать тут, без конца распинаться про лошадей и при всяком удобном случае таскать у нее деньги да хлеб.

Она вскочила, опять полная кипучей энергии. Он остался у нее, этот кусочек жизни. После бесконечной почтовой службы ей необходимо хоть пару часов побыть наедине с собой. Ходить с почтой по домам было тяжело, очень тяжело, с каждым днем все тяжелее. У нее и раньше хватало неприятностей по женской части, недаром трое младшеньких лежали на кладбище, родились-то недоношенные. И с ногами теперь плоховато. Не годится она для такой работы, ей бы дома хозяйничать. Но пришлось зарабатывать деньги, когда муж вдруг ушел с завода. Мальчики тогда еще маленькие были. Она их растила, воспитывала, дом этот свой обустраивала – кухню-столовую да спальню. Заодно еще и мужа тянула, если он не торчал у очередной бабенки.

Спору нет, она могла бы давным-давно развестись, он ведь не скрывал, что гуляет. Только развод ничего бы не изменил: разведенный ли, нет ли, Энно все равно бы цеплялся за нее. Ни чести у него, ни совести.

Из квартиры она его окончательно выставила, только когда оба сына ушли воевать. До тех пор считала своим долгом сохранять, по крайней мере, видимость семьи, хотя парни уже выросли и все прекрасно знали. Она вообще стыдилась этих неурядиц, старалась, чтобы окружающие ничего не заметили. Когда ее спрашивали о муже, всегда отвечала, что он на работе. Даже и теперь изредка навещала родителей Энно, приносила им кой-какие продукты или немножко денег, словно возмещая то, что сынок нет-нет да и выманивал из их скудной пенсии.

Но сама для себя Эва Клуге с этим человеком покончила. Пусть он изменится, пусть даже снова пойдет работать и станет таким же, как в первые годы брака, – она его больше не примет. Не то чтобы он вызывал у нее ненависть, нет, этакое ничтожество даже возненавидеть невозможно, он просто был ей гадок, точно паук или змея. Лишь бы оставил ее в покое, не попадался на глаза, ей и этого довольно!

С такими вот мыслями в голове Эва поставила на газ еду и прибрала на кухне – в спальне она всегда наводила порядок еще с утра. Слушая, как зашумела кастрюлька с бульоном, а по кухне распространился аромат, она взялась за корзинку со штопкой – с чулками вечная беда, за день их иной раз рвалось больше, чем она могла починить. Но на эту работу она не сердилась, любила тихие полчаса перед ужином, когда могла уютно посидеть в плетеном кресле, в мягких войлочных тапках, вытянуть разболевшиеся ноги, чуть повернув их мысками друг к другу, – так они отдыхали лучше всего.

После еды она думала написать своему любимцу, старшенькому, Карлеману, – теперь он в Польше. Они совсем перестали понимать друг друга, особенно с тех пор, как он поступил в СС. Про СС в последнее время ужасы рассказывали, особенно про то, как они обходятся с евреями. Но она не верила, что он на такое способен, что мальчик, которого она когда-то носила под сердцем, насилует еврейских девушек и потом сразу их расстреливает. Карлеман не таков! В кого бы ему стать таким? В ней никогда не было ни грубости, ни тем более жестокости, а отец попросту тряпка. Но все-таки она попытается намекнуть ему в письме, что он должен остаться порядочным. Намекнуть, конечно, надо очень осторожно, только чтобы сам Карлеман понял. Иначе его ждут неприятности, когда письмо попадет к цензору. Ничего, она что-нибудь придумает, может, напомним ему тот случай из детства, когда он стащил у нее две марки и купил на них конфет, или нет, лучше – как в тринадцать лет связался с Валли, с обыкновенной шлюхой. Скольких трудов стоило отвести его от этой бабы – он ведь иной раз ужас как вспылчив, Карлеман-то!

Но, думая об этих неприятностях, она улыбается. Сегодня все, что связано с детством мальчиков, кажется ей прекрасным. В ту пору у нее еще хватало сил, она готова была защищать своих ребятишек от целого мира и трудиться день и ночь, лишь бы дать им все то, что есть у других детей, у которых порядочные отцы. Однако в последние годы сил все меньше, особенно

с тех пор, как мальчики пошли на войну. Нет, эта война совсем не нужна; коли фюрер впрямь такой великий человек, он должен был ее избежать. Какой-то Данциг с узким коридором⁸ – и ради этого ежедневно подвергать миллионы людей смертельной опасности, не-ет, великие люди так не поступают!

Правда, в народе говорят, он вроде как внебрачный ребенок. Тогда у него, поди, и матери настоящей не было, чтобы любила и как следует о нем заботилась. И он знать не знает, каково у матери на душе от вечного, неистребимого страха. После письма с фронта день-два полегче, а потом, как высчитаешь, давно ли оно отослано, опять наваливается страх.

Эва Клуге, замечтавшись, уронила на колени недоштопанный чулок. А теперь машинально встает, передвигает бульон с более горячей конфорки на ту, что послабее, ставит на его место кастрюльку с картофелем. И вот тут раздается звонок в дверь. Она оцененела. Энно! – мелькает в голове. Энно!

Тихонько отставив кастрюльку, она бесшумно крадется в своих войлочных тапках к двери. От сердца отлегло: у двери, чуть сбоку, чтобы ее хорошо видели, стоит соседка, госпожа Геш. Наверняка опять пришла чего-нибудь занять, муки или жира, а вернуть снова забудет. Тем не менее Эва Клуге держится настороженно. Осматривает площадку, насколько позволяет глазок, чутко прислушивается. Но все в порядке, только Геш временами нетерпеливо шаркает ногами да поглядывает на дверной глазок.

Эва Клуге решается. Открывает дверь, правда не снимая цепочки, спрашивает:

– Чем могу помочь, госпожа Геш?

И Геш, тощая, заезженная до полусмерти – дочери живут себе припеваючи у нее на иждивении, – немедленно обрушивает на соседку поток жалоб: мол, вечно стираешь чужое грязное белье, досыта никогда не поешь, а Эмми и Лилли сидят сложа руки. После ужина встают и уходят, а посуду пускай мать моет.

– Н-да, госпожа Клуге, я вот о чем хотела вас попросить, у меня что-то вскочило на спине, не то чирей, не то еще какой гнойник. У нас только одно зеркало, и глаза у меня видят плохо. Может, посмотрите – не к врачу же идти, нет у меня времени! Может, вы его и выдавить сумеете, коли вам не противно, иные-то брезгают...

Пока Геш продолжает причитать, Эва Клуге машинально снимает цепочку и впускает соседку на кухню. Потом хочет закрыть дверь, но мешает чья-то нога, и вот Энно Клуге уже в ее квартире. Лицо его, как обычно, ничего не выражает; что он слегка взволнован, она замечает только по тому, как дергаются почти лишенные ресниц веки.

Эва Клуге стоит опустив руки, колени подкашиваются – так бы и села на пол. Словесный поток соседки неожиданно иссяк, она молча смотрит на них обоих. На кухне царит полная тишина, только кастрюлька с бульоном тихонько булькает.

Наконец Геш говорит:

– Ну что ж, я сделала вам одолжение, господин Клуге. Но говорю вам: второго раза не будет. И если вы не сдержите обещания и снова станете бездельничать, шастать по кабакам да играть на бегах... – Бросив взгляд на лицо Эвы Клуге, она умолкает, потом говорит: – Может, я чего не то сделала? Тогда вышвырнем вон этого мужичонку, я пособлю вам, госпожа Клуге, вдвоем-то мы мигом!

Эва Клуге только отмахивается:

– Да ладно, госпожа Геш, теперь уж все равно!

Медленно и осторожно она подходит к плетеному креслу, садится. Снова берет в руки чулок, но смотрит на него так, будто не понимает, что это.

⁸ По Версальскому мирному договору 1919 г. Данциг (ныне Гданьск) и узкая полоса земли, называемая Данцигским, или Польским, коридором отошли к Польше; Гитлер считал, что Германия обязана вернуть себе то и другое.

– Тогда покойной ночи вам или хайль Гитлер, смотря как вам больше нравится! – с легкой обидой произносит Геш.

– Хайль Гитлер! – поспешно отзывается Энно Клуге.

А Эва Клуге медленно, будто просыпаясь от сна, отвечает:

– Покойной ночи, госпожа Геш. – И, спохватившись, добавляет: – А как же ваша спина?..

– Не беспокойтесь, – поспешно отвечает Геш, уже в дверях. – Со спиной все в порядке, я просто так сказала. Но больше я нипочем не стану вмешиваться в чужие дела. Вижу ведь: благодарности никогда не дожدهшься.

С этими словами она выходит за дверь, радуясь, что убралась от этих безмолвных фигур, и немножко угрызаясь.

Как только дверь за ней закрывается, коротышка оживает. По-хозяйски открывает шкаф, освобождает плечики, повесив два платья жены одно на другое, устраивает на плечиках свое пальто. Жокейку кладет на полку в шкаф. С собственными вещами он неизменно обращается очень бережно, терпеть не может быть плохо одетым и знает, что обновки ему не по карману.

Затем он удовлетворенно бормочет «так-так!», потирает руки, подходит к плите, нюхает кастрюли.

– Красота! Вареная картошка с говядиной – красотища!

Энно делает паузу, жена сидит не шевелясь, к нему спиной. Он тихонько накрывает кастрюльку крышкой, становится рядом, говорит сверху вниз:

– Эва, чего ты сидишь как мраморная статуя? Что такого стряслось? Ну, побудет муж несколько дней у тебя в квартире, никаких хлопот я тебе не доставлю. И обещания свои сдержу. И картошка твоя мне без надобности – разве что остатки подберу. Да и то если ты сама предложишь, по доброй воле, – я ни о чем не прошу.

Жена не говорит ни слова. Убирает штопку в шкаф, ставит на стол глубокую тарелку, наполняет из обеих кастрюлек и не спеша приступает к еде. Муж сел у другого конца стола, достал из кармана несколько спортивных газет, делает пометки в толстой засаленной записной книжке. При этом он то и дело поглядывает на жену. Она ест очень медленно, но уже дважды подкладывала и подливала, на его долю определенно останется немного, а он голоден как волк. Целый день, нет, со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не было. К Лотте муженек нагрянул с фронта в отпуск и бесцеремонно оставил Энно без завтрака, да еще и побил, выгоняя из постели.

Но он не осмеливается сказать Эве, что голоден: боится безмолвной жены. Прежде чем он снова почувствует себя здесь по-настоящему дома, еще много чего должно произойти. Однако рано или поздно так оно и будет: любую женщину можно уломать, главное – запастись терпением и особо не перечить. В конце концов они уступают, большей частью внезапно: просто не могут больше сопротивляться.

Эва Клуге выскребает из кастрюль остатки. Сумела, за один вечер съела все, что наготовила на два дня, зато теперь ему нечего будет кланяться! Быстро вымыв посуду, она начинает большую перестановку. На глазах у него относит в спальню все, чем мало-мальски дорожит. Там крепкий замок, Энно еще ни разу туда не забирался. Она перетаскивает в спальню запасы съестного, свои платья и пальто (те, что получше), обувь, подушки с кушетки, даже фото обоих сыновей – все у него на глазах. Ей безразлично, что он подумает или скажет. В квартиру он проник хитростью, только вот проку ему от этого не будет.

Эва запирает спальню, приносит письменные принадлежности, кладет на стол. Она до смерти устала и предпочла бы лечь, но раз решила написать сегодня вечером Карлеману, то и напишет. Спуску она не дает не только мужу, но и себе самой.

Ей удастся написать лишь несколько фраз, когда муж перегибается через стол, спрашивает:

– Кому пишешь, Эвочка?

Она невольно отвечает, несмотря на твердое решение больше с ним не разговаривать:

– Карлеману...

– Та-ак. – Он кладет газеты на стол. – Та-ак, значит, ему ты пишешь, да, поди, еще и посылочку отправишь, а для его отца нету у тебя ни картофелины, ни шматка мяса, пускай с голоду помирает!

Голос уже не такой безразличный, в нем звучит искренняя обида: сыну дают, а отцу нет!

– Брось, Энно, – спокойно отвечает она. – Это мое дело, а Карлеман хороший мальчик...

– Вот оно как! Вот как! И ты, конечно, начисто забыла, как он относился к своим родителям, когда шарфюрером⁹ заделался? Как ты ничем не могла ему угодить и как он смеялся над нами, обзывал глупым старичьем – ты все позабыла, а, Эвочка? Хороший мальчик Карлеман, ничего не скажешь!

– Надо мной он не смеялся! – слабо защищается она.

– Ясное дело! – с издевкой продолжает он. – Ясное дело, ты запаматовала, что он не узнавал родную мать, когда она с тяжелой почтовой сумкой шла по Пренцлауэр-аллее? Вместе с девчонкой своей смотрел в другую сторону, ну как же, белая кость!

– За это на молодого парня обижаться нельзя, – говорит она. – Им всем охота перед девчонками покрасоваться, всем до одного. Со временем это проходит, он опять вернется к матери, которая на руках его носила.

Секунду Энно неуверенно смотрит на нее: сказать или нет? В сущности, он не злопамятен, но на сей раз она слишком сильно его обидела – во-первых, не накормила, а во-вторых, у него на глазах унесла в спальню все хорошие вещи. И он все-таки говорит:

– Будь я матерью, в жизни бы такого сына больше не обнял, мерзавец он, вот кто! – Он смотрит в ее расширенные от страха глаза и безжалостно произносит прямо в застывшее лицо: – В последний свой отпуск он показывал мне фотографию, его приятель снимал, показывал, чтобы похвастать. Там твой Карлеман держит за ножку еврейского ребенка лет трех, не старше, и бьет его головой о бампер автомобиля...

– Нет! Нет! – кричит она. – Ты врешь! В отместку выдумал, потому что я тебя не накормила! Карлеман такого не сделает!

– Выдумал? – переспрашивает он, уже спокойнее: удар-то нанесен. – Да мне такого нипочем не выдумать! Кстати, если не веришь, сходи к Зенфтенбергу в пивнушку, он всем там снимок показывал. Толстяк Зенфтенберг и его старуха, они тоже видали...

Он замолкает. Нет смысла продолжать разговор с этой женщиной, она рыдает, уронив голову на стол. И поделом ей, пускай на себя пеняет, между прочим, она еще и в партии состоит и всегда ратовала за фюрера и за все, что он ни делал. Нечего удивляться, что Карлеман стал таким.

Секунду Энно Клуге стоит, с сомнением глядя на кушетку – ни одеяла, ни подушек! Ночлег хоть куда! Пожалуй, как раз сейчас самый момент рискнуть, а? Он стоит в сомнениях, глядит на запертую дверь спальни, потом решается. Просто сует руку в карман фартука безудержно рыдающей жены и достает ключ. Отпирает дверь и принимается шарить по комнате, причем особо не таясь...

Эва Клуге, затравленная, вымотанная до предела, все слышит, знает, что ее обворовывают, но ей уже все равно. Мир рухнул, ее мир уже не вернешь. Чего ради жить на свете, чего ради рожать детей, радоваться их улыбке, их играм, если потом из них вырастают звери? Ах, Карлеман – какой он был прелестный белокурый мальчик! Когда в ту пору она побывала с ним в цирке Буша и лошади одна за другой по команде ложились на песок, он так им сочувствовал: неужто заболели? Пришлось его успокаивать, лошадки, мол, просто спят.

⁹ Шарфюрер – унтер-офицер войск СС в нацистской Германии.

А теперь он этак обходится с детьми других матерей! Эва Клуге ни секунды не сомневалась, что история с фотографией – чистая правда, Энно впрямь не способен выдумать такое. Н-да, вот и этого сына она потеряла. Лучше бы он умер, тогда бы она, по крайней мере, могла горевать. А теперь она никогда больше не сможет его обнять, и для него дверь этого дома тоже будет закрыта.

Между тем муж, обыскивая комнату, нашел то, чем, как он давно предполагал, владела его жена: сберегательную книжку на 632 марки. Ничего не скажешь, работающая женщина, только на что ей столько денег? В свое время будет получать пенсию, а прочие сбережения... Так или иначе, завтра он поставит 20 марок на Адебара и, может, десятку на Гамилькара... Он листает сберкнижку: женщина не только работающая, но еще и аккуратистка. Все у нее сложено по порядку: в конце книжки лежат контрольный талон и расходные квитанции...

Он уже собирается сунуть сберкнижку в карман, но тут его настигает жена. Просто забирает у него книжку, кладет на кровать и коротко бросает:

– Убирайся! Вон!

И Энно, который всего секундой раньше был совершенно уверен, что одержал победу, под злым взглядом Эвы вышел из спальни. Дрожащими руками, не смея сказать ни слова, он достал из шкафа пальто и жокейку, молча прошагал мимо жены к открытой двери, на темную площадку. Дверь за ним закрылась, он включил на лестнице свет и спустился по ступенькам. Слава богу, парадное не заперто. Ладно, он двинет в свою излюбленную пивную; на худой конец, если никого не найдет, хозяин позволит ему заночевать на диване. Он уходит, покорный судьбе, привыкший сносить ее удары. Женщина в квартире наверху уже почти забыта.

А она стоит у окна, смотрит в вечернюю темноту. Хорошо. Плохо. Вот и Карлеман потерян. Что ж, попробуем с Максом, с младшим. Макс всегда был бесцветнее, больше походил на отца, чем его яркий брат. Может, в Максе она найдет сына. А нет, так будет жить одна, сама по себе. Но останется порядочной. По крайней мере, одного в жизни она достигла: сохранила порядочность. И завтра же потихоньку разузнает, как можно выйти из партии и не угодить в концлагерь. Дело наверняка очень непростое, но глядишь, и получится. А коли иначе нельзя, она и в концлагерь пойдет. Хоть немного искупит то, что натворил Карлеман.

Она комкает начатое, закапанное слезами письмо старшему сыну. Берет новый лист бумаги и начинает писать:

«Дорогой сынок Макс! Решила вот снова написать тебе письмецо. У меня пока все хорошо, как, надеюсь, и у тебя. Только что здесь был твой отец, но я выставила его за дверь, ведь он явился тянуть из меня деньги. От твоего брата Карла я тоже отказалась, из-за мерзостей, какие он совершил. Теперь ты – мой единственный сын. Прошу тебя, останься порядочным человеком. А я сделаю для тебя все, что в моих силах. Поскорее напиши мне письмецо. Шлю тебе поклон и целую. Твоя мама».

Глава 6

Отто Квангель отказывается от должности

Цех мебельной фабрики, в котором под началом сменного мастера Отто Квангеля трудились примерно восемь десятков рабочих и работниц, перед войной выпускал лишь штучную мебель по оригинальным чертежам, тогда как все другие цеха работали на потоке. Когда грянула война, все предприятие перевели на армейские заказы, и квангелевскому цеху выпало изготавливать большие громоздкие ящики, служившие, по слухам, для перевозки тяжелых бомб.

Что до Отто Квангеля, то его ничуть не интересовало, для чего ящики предназначены; он считал эту новую, скучную работу недостойной себя и презирал ее. Он был настоящий столяр-краснодеревщик, и текстура древесины, изготовление красивого резного шкафа вызывали у него чувство глубочайшего удовлетворения. Подобная работа дарила ему столько счастья, сколько вообще способен ощутить человек по натуре холодно-сдержанный. Теперь его сделали просто надзирателем, у которого одна забота – чтобы цех выполнял, а по возможности и перевыполнял назначенную норму. Однако в силу своей натуры он ни разу ни словом не обмолвился о своих чувствах, и его острое птичье лицо ни единым мускулом не выдавало презрения к этой плотницкой работе с сосновыми досками. Приглядысь к нему кто-нибудь повнимательнее, он бы заметил, что немногословный Квангель теперь вообще молчал и при нынешнем режиме предпочитал ни во что не вмешиваться.

Но кто станет обращать внимание на такого скучного, ничем не примечательного человека, как Отто Квангель? Всю жизнь он казался простым трудягой, чей единственный интерес – текущая работа. Дружить он ни с кем не дружил, даже приветливого слова от него не дождешься. Работа, только работа, какая разница – люди ли, станки ли, только бы делали свою работу!

При этом он даже антипатии не вызывал, хотя надзирал за цехом и, хочешь не хочешь, заставлял людей работать. Но никогда не бранился и начальству ни на кого не доносил. Если считал, что на каком-то участке работа идет не так, как надо, шел туда и молча ловкими руками устранял помеху. Или становился подле кучки говорунов и, устремив на них почти невидящий взгляд темных глаз, стоял так, пока у них не проходила охота чесать языки. От Квангеля всегда веяло холодом. В короткие перерывы рабочие старались сесть подальше от него, выказывая тем самым вполне естественное уважение, какого другой не приобрел бы ни разговорами, ни поощрениями.

Фабричное руководство тоже прекрасно понимало, как им повезло с Отто Квангелем. Его цех неизменно добивался самой высокой выработки, сложностей с людьми там никогда не возникало, а сам Квангель держался вежливо и обходительно. Его бы давным-давно повысили, решишь он вступить в партию. Но он всегда отказывался. «Нет у меня лишних денег, – говорил он в таких случаях. – Каждая марка на счету. Семью надо кормить».

Втихомолку над ним посмеивались, называли жмотом. Небось каждое грошовое пожертвование от сердца отрывает. Нет бы сообразить, что, вступив в партию, он получит прибавку к жалованью, которая с лихвой возместит потерю на партийных взносах. Увы, толковый сменный мастер в политическом отношении и впрямь безнадежный дурак, потому его и оставили на этой небольшой руководящей должности, хоть он и не партийный.

На самом деле от вступления в партию Отто Квангеля удерживала вовсе не скупость. Конечно, он был крайне щепетилен в том числе и в денежных вопросах и порой мог неделями досадовать из-за опрометчиво потраченного гроша. Но к другим он относился с той же щепетильностью, что и к себе, а эта партия следует собственным принципам далеко не щепетильно. Уж он посмотрелся, как школа и гитлерюгенд воспитывали его сына, слышал от Анны да и сам видел, что все хорошо оплачиваемые должности на фабрике достаются партийцам, которых

неизменно предпочитали самым старательным беспартийным, – все это укрепляло его в уверенности, что партия нещепетильна, то есть несправедлива, а с такими вещами он дела иметь не желал.

Вот почему брошенное женой «ты и твой фюрер» нынче так его обидело. Разумеется, до сих пор он верил в искренность фюрера, в его величие и добрые намерения. Достаточно убрать из его окружения всех этих навозных мух, любителей легкой наживы, которым лишь бы деньги грести лопатой да жить припеваючи, – и сразу все наладится. Но до тех пор он участвовать не будет, ни за что, и Анна прекрасно об этом знала, единственная, с кем он по-настоящему разговаривал. Ладно, она сказала так сгоряча, со временем он забудет, не умеет он копить на нее обиды.

А вот насчет фюрера и насчет войны нужно еще хорошенько поразмыслить. Правда, размышляет Отто Квангель всегда подолгу. На других внезапные события действуют тотчас, люди тут же принимаются говорить, кричать или что-то делать, а на него – медленно, очень медленно.

Сейчас, стоя в цеху среди грохота и скрежета, чуть приподняв голову и медленно переводя взгляд со строгального станка на ленточную пилу, на гвоздильщиков, сверловщиков, подносчиков досок, он отмечает, как весть о смерти Отто, а особенно слова Анны и Трудель продолжают в нем свое действие. Собственно говоря, об этом он особо не думает, зато точно знает, что этот халтурщик, столяр Дольфус, семь минут назад вышел из цеха и вся работа на его линии застопорилась, так как ему, видите ли, опять приспичило выкурить в нужнике сигарету или просто потрепать языком. Еще три минуты – и он сам притащит его обратно, сам!

И покуда взгляд, упав на минутную стрелку стенных часов, фиксирует, что через три деления действительно будет целых десять минут, как Дольфус сачкует, Квангелю вспоминается не только ненавистный плакат над головой Трудель, и думает он не только о том, что, собственно, означают слова «измена родине и государству» и где бы насчет этого разузнать, а еще и о том, что в кармане куртки лежит переданное вахтером письмо, в котором сменного мастера Квангеля коротко уведомляют, что ровно в пять он должен явиться в столовую для служащих.

Это письмо не то чтобы тревожит его или раздражает. Раньше, когда на фабрике еще делали мебель, ему часто доводилось заходить в дирекцию – обсудить производство того или иного изделия. Столовая для служащих – кое-что новенькое, ну да ему без разницы, только вот до пяти всего шесть минут, а до тех пор надо бы вернуть столяра Дольфуса к пиле. И минутой раньше намеченного срока он отправляется искать Дольфуса.

Однако ни в нужниках, ни в коридорах, ни в соседних цехах Дольфуса нет, а когда Квангель возвращается в свой цех, на часах уже без одной минуты пять, так что, если он не хочет опоздать, самое время идти. Он поспешно стряхивает с куртки опилки и спешит в административное здание, на первом этаже которого находится столовая.

Судя по всему, состоится доклад – в зале стоит ораторская трибуна, длинный стол для президиума, ряды стульев. Обстановка знакома ему по собраниям «Трудового фронта», в которых ему частенько приходилось участвовать, только те всегда проходили в столовой для рабочих. Вся разница – вместо стульев из гнутых металлических трубок там стояли грубые деревянные лавки и присутствующие большей частью были, как он, в рабочих робах, а здесь сплошь мундиры, коричневые и серые, служащие в штатском теряются среди них.

Квангель сел на стул возле двери, чтобы по окончании доклада поскорее вернуться к себе в цех. Зал уже почти полон, одни сидят, другие группками толпятся в проходах и у стен, разговаривают.

Все собравшиеся – при свастике. Кажется, Квангель тут единственный без партийного значка (на мундирах вермахта значков, правда, тоже нет, но зато на них свастику держит имперский орел). Наверно, его пригласили сюда по ошибке. Квангель вертит головой, присматривается. Кое-кто ему известен. Бледный толстяк, уже сидящий за столом президиума, – это

генеральный директор Шрёдер, его он знает в лицо. Остроносый коротышка в пенсне – кассир, который каждую субботу вручает ему конверт с получкой и с которым он уже несколько раз крепко поспорил из-за высоких вычетов. Забавно, в кассе он партийный значок не нацепляет, мелькает в мозгу у Квангеля.

Однако большинство лиц в зале ему незнакомы, видимо, здесь почти сплошь господа из контор. Внезапно взгляд Квангеля становится острым и колючим: в одной из групп он обнаружил человека, которого только что тщетно искал в нужнике, – столяра Дольфуса. Но теперь столяр Дольфус одет не в робу, а в выходной костюм и разговаривает с двумя господами в партийных мундирах как с равными. Теперь и он нацепил свастику, это столяр-то Дольфус, которого в цеху не раз и не два заставляли за пустопорожней болтовней! Вот оно как! – думает Квангель. Шпик, стало быть. Может, на самом деле никакой не столяр и не Дольфус. Вроде бы Дольфусом¹⁰ звали австрийского канцлера, которого они убили? Кругом мухлюют – а я-то, дурак, ничего не вижу!

И он стал вспоминать, был ли Дольфус в его цеху, когда убрали Ладендорфа и Трича и народ шушукался, что их отправили в концлагерь.

Квангель выпрямился. Осторожно, сказал внутренний голос. И еще: я ведь сижу тут все равно что среди убийц! Немного погодя он думает: меня и эта шайка не подловит. Я же просто старый, бестолковый сменный мастер, ни в чем не разбираюсь. Но действовать с вами заодно – не-ет, благодарю покорно. Видал нынче утром, что было с Анной, а потом с Трудель; нет, я вам не помощник. Не хочу, чтобы чья-нибудь мать или невеста из-за меня этак казнилась. Я в ваших делишках участвовать не стану...

Вот так он думает. Зал между тем заполнился, ни одного свободного местечка. За столом президиума сплошь коричневые мундиры и черные френчи, а на трибуне не то майор, не то полковник (Квангель так и не научился различать мундиры и знаки отличия) рассуждает о стратегической обстановке.

Разумеется, все превосходно, оратор должным образом славит победу над Францией, говорит, что буквально через несколько недель будет повержена и Англия. Затем он малопомалу подходит к пункту, за который особенно болеет душой: ведь коль скоро на фронте достигнуты столь большие успехи, то ожидается, что и родина исполнит свой долг. Продолжение речи звучит так, будто господин майор (или полковник, или капитан) явился сюда прямым из Главного штаба, чтобы от имени фюрера призвать персонал мебельной фабрики «Краузе и К°» непременно повысить производительность труда. Фюрер ожидает, что через три месяца фабрика увеличит производительность на пятьдесят процентов, а через полгода поднимет ее вдвое. Предложения собравшихся, как достичь этой цели, будут охотно рассмотрены. Тех же, кто не станет сотрудничать, надлежит считать саботажниками и обходиться с ними соответственно.

Меж тем как оратор вновь провозглашает «Зиг хайль!» в честь фюрера, Отто Квангель думает: вот болваны, сущие недоумки! Через неделю-другую Англия станет на колени, война кончится, а мы через полгода на сто процентов увеличим выпуск военной продукции! Куда они ее денут-то?

Однако он бодро кричит «Зиг хайль!» вместе со всеми, снова садится и видит, как на трибуну поднимается второй оратор – коричневый мундир, вся грудь в медалях, орденах и значках. Этот партийный оратор – человек совсем иного сорта, нежели его военный предшественник. Он сразу же резко и запальчиво заводит речь о нездоровом настроении, который еще имеет место на предприятиях, несмотря на замечательные успехи фюрера и вермахта. Говорит резко и запальчиво, почти рычит, и не стесняется в выражениях, рассуждая о критиканах и нытиках.

¹⁰ Дольфус Энгельберт (1892–1934) – федеральный канцлер Австрии, один из лидеров Христианско-социальной партии, убит сторонниками присоединения Австрии к Германии.

Теперь, мол, пришла пора искоренить последние их остатки, хватит церемониться, отутюжить им харю, да так, чтоб больше пасть не раскрыли! *Suum cuique*, так в Первую мировую писали на ременных пряжках, а теперь это «каждому свое» красуется над воротами концлагерей! Там их научат уму-разуму, а всякий, кто позаботится, чтобы такой мужик или баба отправились куда надо, исполнит свой долг перед немецким народом и докажет верность фюреру.

– На всех вас, сидящих здесь, – в заключение рычит оратор, – руководителей цехов, начальников отделов, директоров, лично на каждого из вас я возлагаю ответственность за то, чтобы ваше предприятие было чистым! А чистота есть национал-социалистский образ мыслей! Только так! Бесхребетные слабаки, ни о чем не сообщающие, хотя бы и о ничтожнейших мелочах, сами загремят в концлагерь. Я лично за этим прослежу, кто бы вы ни были – директор или сменный мастер, я вас научу уму-разуму, если надо, пинками вышибу эту мягкотелость!

Секунду оратор стоит на трибуне, судорожно сжатые кулаки вскинуты, лицо налито кровью. После этой яростной вспышки в зале наступила мертвая тишина, все сидят с несколько растерянным видом, ведь их так внезапно, открытым текстом обязали доносить на товарищей. Потом оратор тяжелой походкой спускается с трибуны, медали и ордена у него на груди тихонько позвякивают, теперь встает бледный генеральный директор Шрёдер и тихим вкрадчивым голосом спрашивает, кто еще желает взять слово.

По залу проносится вздох облегчения, все усаживаются поудобнее – словно дурной сон миновал и день вновь вступает в свои права. Желающих выступить, похоже, нет, всем, наверно, хочется поскорее покинуть столовую, и генеральный директор уже намеревается закрыть собрание, провозгласив «Хайль Гитлер!». Как вдруг в заднем ряду встает человек в синей рабочей блузе и говорит, что в его цеху повысить производительность проще простого. Необходимо лишь установить такие-то и такие-то станки, он их перечисляет и поясняет, как именно их надлежит установить. А кроме того, не мешает выгнать человек шесть-восемь, бездельников и неумех. Тогда хватит и квартала, чтобы производительность выросла на сто процентов.

Квангель стоит сдержанный и спокойный, он вступил в схватку. Чувствует, как все они глядят на него, на простого работягу, которому совершенно не место здесь, среди этих важных господ. Но он перед такими людьми никогда не лебезил, ему безразлично, глядят они на него или нет. Теперь, когда он умолк, в президиуме шушукаются о нем. Ораторы интересуются, кто таков этот человек в синей блузе. Потом майор, или полковник, встает и говорит Квангелю, что техническое руководство обсудит с ним упомянутые станки, но как понимать, что шесть или восемь человек надо выгнать из цеха.

Медленно и упрямо Квангель отвечает:

– Ну, кое-кто просто не умеет работать, как полагается, а кое-кто не желает. Да вон один из них! – И большим корявым пальцем он указывает напрямик на столяра Дольфуса, который сидит на несколько рядов впереди.

Некоторые разражаются смехом, в том числе и сам столяр Дольфус оборачивается к нему и хохочет.

Квангель, однако, даже бровью не ведет, только холодно произносит:

– Что ж, языком молоть почем зря, курить в уборной да от работы отлынивать – тут ты мастак, Дольфус!

В президиуме опять перешептываются насчет вздорного чудака. А коричневый оратор буквально срывается с тормозов, вскакивает на ноги, кричит:

– Ты же не в партии... почему ты не в партии?

И Квангель отвечает так, как всегда отвечал на этот вопрос:

– Потому что у меня каждый грош на счету, потому что я человек семейный и мне это не по карману!

– Потому что ты жмот! – рычит коричневый. – Потому что жаба тебя задушила, пфеннига не отстегнешь для своего фюрера и для народа! Большая у тебя семья?

И Квангель холодно бросает ему в лицо:

– Про мою семью вы мне нынче не поминайте, господин хороший! Как раз сегодня извещение пришло, что мой сын погиб!

На миг в зале наступает мертвая тишина: поверх рядов стульев коричневый бонза и старый мастер смотрят друг на друга. Потом Отто Квангель неожиданно садится, словно все теперь улажено, немного погодя садится и коричневый. Снова встает генеральный директор Шрёдер, провозглашает «Зиг хайль» фюреру, но как-то жидковато. Собрание закрывается.

Пятью минутами позже Квангель опять у себя в цеху, приподняв голову, медленно обводит взглядом строгальный станок и ленточную пилу, потом гвоздильщиков, сверловщиков, подносчиков досок... Но это уже не прежний Квангель. Он чувствует, он знает, что перехитрил их всех. Пожалуй, выбрал не самый благовидный способ, сыграл на гибели сына, но разве эти сволочи заслуживают порядочного обхождения? Нет! – чуть ли не вслух говорит он себе. Нет, Квангель, прежним тебе уже не бывать. Интересно, что скажет Анна. Дольфус-то не вернется на рабочее место? Тогда надо сегодня же запросить замену. Мы отстаем...

Но беспокоиться незачем, Дольфус возвращается. Причем не один, в сопровождении начальника цеха, и сменному мастеру Отто Квангелю сообщают, что он, Квангель, сохранит за собой техническое руководство цехом, но свою должность в здешнем отделении «Трудового фронта» передаст господину Дольфусу и в политические вопросы отныне вообще вмешиваться не станет.

– Понятно?

– Еще бы! Рад, что отдаю должность тебе, Дольфус! Слух у меня слабеет, а подслушивать, как велел давешний оратор, я при здешнем шуме и вовсе не могу.

Коротко кивнув, Дольфус быстро говорит:

– Насчет того, что вы только что видели и слышали, никому ни слова, иначе...

– А с кем мне тут разговоры говорить, Дольфус? – чуть ли не с обидой отвечает Квангель. – Ты хоть раз видал, чтобы я с кем болтал? Мне это неинтересно, мне интересна только работа, и я знаю, что нынче мы крепко отстали. Так что пора тебе снова к станку! – Он бросает беглый взгляд на часы. – Ты просачковал уже час тридцать семь минут!

Секундой позже столяр Дольфус в самом деле стоит за пилой, а по цеху с быстротой молнии пробегает неведомо откуда взявшийся слух, что Дольфус получил разнос за вечные перекуры и болтовню.

Сменный мастер Отто Квангель сосредоточенно ходит от станка к станку, помогает, печатывает взглядом иного говоруна, а при этом думает: отвязался я от них – на веки вечные! И ведь они ничегошеньки не подозревают, я для них всего лишь старый дурак! А когда назвал коричневого «господин хороший», вконец их доконал! Очень мне теперь интересно, что делать дальше. Ведь что-то я буду делать. Только не знаю покуда что...

Глава 7

Ночной взлом

Поздним вечером – собственно говоря, уже ночью и для задуманного, собственно говоря, поздновато – Эмиль Баркхаузен все-таки встретил своего Энно в ресторанчике «Очередной забег». Праведный гнев почтальонши Эвы Клуге хотя бы этому поспособствовал. Взяв по стакану пива, мужчины уселись за столик в углу, принялись шептаться и шептались долго – за одним стаканом пива, – пока хозяин не обратил их внимание на то, что уже трижды объявлял полицейский час¹¹ и что им пора по домам, к женам.

На улице разговор продолжился; сперва они было направились в сторону Пренцлауэр-аллее, но вскоре Энно приспичило повернуть обратно, ему пришло в голову, что лучше, пожалуй, попытать счастья у бабенки по имени Тутти, с которой он когда-то хороводился. Тутти, Макака. Всё лучше, чем это темное дельце...

Эмиль Баркхаузен аж взвился от такой дурости. В десятый, да что там, в сотый раз заварил Энно: дело вовсе не темное. Наоборот, законная – практически – реквизиция, проводимая с ведома СС, вдобавок у кого? У какой-то старой жидовки, до которой никому дела нет. Зато оба они на время поправят свои финансы, ну а полиция и суд тут вообще ни при чем.

Энно, однако, твердил свое: нет-нет, он в такие дела никогда не лез и ни шиша в них не смыслит. Бабы – да, бега – трижды да, но темные делишки не по его части. Тутти, хоть ее и прозвали Макакой, всегда была тетка добрая, наверняка уже и думать забыла, что, сама того не зная, выручила его тогда деньжатами и продуктовыми карточками.

А ведь добрались, считай, почти до самой Пренцлауэр-аллее.

А этот Баркхаузен, которого вечно кидало то в лесть, то в угрозы, дернул себя за жидкие длинные усы и с досадой сказал:

– Да кто, черт побери, требует, чтоб ты в этом смыслил? Я и один справлюсь, по мне, так можешь просто стоять рядом руки в брюки. Я даже вещички тебе упакую, коли захочешь! Пойми, наконец, Энно, ты нужен мне для страховки, на случай, если СС нас кинет, вроде как свидетель, чтоб поделили все путем. Ну сам прикинь, чего только не найдется у такой богатой жидовки, пусть даже гестапо, когда забирало ее мужа, тоже кой-чего прихватило!

И внезапно Энно Клуге согласился. Теперь ему не терпелось поскорее попасть на Яблонскиштрассе. Однако ж причиной, подвигшей его преодолеть страх и решительно сказать «да», была не болтовня Баркхаузена и не перспектива богатой добычи, а всего-навсего голод. Он волей-неволей вдруг подумал о кладовке старухи Розенталь и о том, что евреи всегда любили хорошо поесть и что вообще-то он в жизни не едал ничего вкуснее фаршированной гусиной шеи, которой его однажды угостил богатый еврей, торговец готовым платьем.

В своих голодных фантазиях он вдруг вообразил, что непременно найдет в розенталевской кладовке такую вот фаршированную гусиную шею. Прямо воочию видел фарфоровую миску, а в ней эту гусиную шею, в загустевшем соусе, туго нафаршированную, с обоих концов перетянутую ниткой. Он возьмет миску, разогреет на газу, а все остальное ему без разницы. Баркхаузен пускай делает что хочет, а ему по фигу. Он будет макать хлеб в горячий, жирный, пряный соус, а шею возьмет прямо так, рукой, откусит, так что сок брызнет во все стороны.

– Прибавь ходу, Эмиль, я спешу!

– С чего это вдруг? – спросил Баркхаузен, но шагу прибавил. Ему тоже не терпелось поскорее со всем покончить, дело-то все-таки и для него непривычное. Опасался он не столько полиции или старой жидовки – что может случиться, если он ариизирует ее добро? – сколько

¹¹ Час закрытия ресторанов и т. п.

Персике. Эти Персике – окаянная, вероломная шайка, они и лучшему корешу в два счета какую-нибудь пакость подстроят. Только из-за Персике он и взял с собой болвана Энно, как свидетеля, которого они не знают, а стало быть, он их притормозит.

На Яблонскиштрассе все прошло гладко, чин чинарем. Примерно пол-одиннадцатого они настоящим, легальным ключом отперли парадное. Потом еще постояли внизу, прислушались, а поскольку все было тихо, включили свет на лестнице и разулись, ведь, как с ухмылкой сказал Баркхаузен, совершенно незачем тревожить ночной покой других жильцов.

Когда свет снова погас, они беззвучно и быстро взбежали вверх по ступенькам, и опять все прошло гладко. Они не совершили ни одной ошибки из тех, что делают новички, – ни на что с грохотом не налетели, ботинки не уронили, нет, без шума добрались до пятого этажа. Итак, лестницу одолели на отлично, хотя ни тот ни другой не были настоящими бандитами, а вдобавок находились в изрядном возбуждении, один – предвкушая фаршированную гусиную шею, другой – из-за добычи и из-за Персике.

С розенталевской дверью все оказалось проще, чем представлял себе Баркхаузен: она оказалась только прихлопнута, на ключ не заперта, так что открылась в два счета. Ох и легкомысленная старушенция, хотя уж ей-то, жидовке, надо быть особенно осторожной! И вот оба уже в квартире – глазом моргнуть не успели, как очутились внутри.

Потом Баркхаузен бесцеремонно зажег свет в прихожей, без малейшего стеснения объявил: «Если старая жидовка будет вякать, уж я ей харю-то надраю!» – как говорил днем Бальдуру Персике. Но она не вякала. И для начала они не спеша осмотрелись в маленькой прихожей, забитой мебелью, чемоданами и ящиками. Понятное дело, при магазине квартира у Розенталей была большая, а когда тебя в одночасье оттуда вышвыривают и ты поневоле ютишься в двух комнатухах с чуланом да кухней, приходится тесниться.

У обоих руки чесались сразу же взяться за дело, все перерыть, обшарить да упаковать, но Баркхаузен решил сперва отыскать Розенталиху и завязать ей рот платком, от греха подальше. Первая комната была до того заставлена, что толком ступить негде, и оба сообразили, что все здешнее добро им и за десять ночей не унести, надо выбирать что получше. Вторая тоже битком набита, как и чулан. Только Розенталиху они не нашли – даже постель не разобрана. На всякий случай Баркхаузен заглянул на кухню и в уборную, но старушенции и там не оказалось, а это называется везуха: хлопот меньше, а работать проще.

Баркхаузен вернулся в первую комнату и начал рыться в вещах. Он и не заметил, что сообщник, Энно, куда-то запропастился. А тот стоял в кладовке, до невозможности разочарованный, потому что никакой фаршированной гусиной шеи там не нашлось, только парочка луковиц да полбуханки хлеба. Но он все-таки принялся за еду, нарезал луковицы кружками, положил на хлеб, с голодухи даже это пришлось ему по вкусу.

И пока Энно Клуге стоял там, жуя хлеб с луком, взгляд его упал на нижние полки, и он вдруг увидал, что у Розенталей, хоть они и остались без харчей, выпивки все ж таки хватает. Внизу стройными рядами стояли бутылки – вино и шнапс. Энно, человек во всех отношениях умеренный, не считая, конечно, игры на бегах, взял бутылочку сладкого вина и поначалу время от времени запивал им свою луковую сухомятку. Одному богу известно, как вышло, что липкое пойло вдруг ему опротивело, ему, Энно, который вообще-то мог три часа сидеть с единственным стаканом пива. Он откупорил бутылку коньяка и быстро тяпнул несколько глотков, за пяток минут ополовинив бутылку. Возможно, перемена случилась с ним от голода или от возбуждения. Есть он совсем перестал.

Затем коньяк ему тоже надоел, и он пошел искать Баркхаузена. Тот по-прежнему шарил в большой комнате, пораскрывал шкафы и чемоданы, а содержимое вывалил на пол, выискивая что получше.

– Слышь, парень, они, кажись, всю бельевую лавку сюда перетасили! – сказал потрясенный Энно.

– Нечего болтать, помоги лучше! – отвечал Баркхаузен. – Здесь наверняка припрятаны драгоценности и деньжата, они же были богачами, Розентали, миллионерами, а ты-то, болван, все про темное дельце толковал!

Некоторое время оба молча трудились, то есть выбрасывали всё новые вещи на пол, и без того уже заваленный одеждой, бельем и утварью, так что приходилось прямо по этому всему ступать башмаками. Наконец крепко захмелевший Энно заявил:

– Все, больше ничего не вижу. Надо мозги прочистить. Принеси-ка, Эмиль, коньячку из кладовки!

Баркхаузен беспрекословно повиновался и вернулся с двумя бутылками, после чего оба в полном согласии уселись на белье и, прихлебывая глоток за глотком, принялись серьезно и основательно обсуждать ситуацию.

– Ясно ведь, Баркхаузен, все барахло быстро не вынесешь, и засиживаться тут слишком долго тоже нельзя. Думаю, каждый возьмет два чемодана, с ними и смоемся. А завтра ночью повторим!

– Да понятно, Энно, засиживаться нам незачем, хотя бы из-за этих Персике.

– Это еще кто такие?

– Да жильцы тутошние... Только вот от одной мысли, что я отвалю с двумя чемоданами бельишка, а третий тут оставлю, с деньжатами и цацками, впору головой об стенку биться. Дай еще маленько поискать, а? Твое здоровье, Энно!

– И твое, Эмиль! Почему бы маленько и не поискать? Ночь долгая, а за свет платить не нам. Я только вот о чем хотел тебя спросить: ты куда двинешь со своими чемоданами?

– Как куда? Ты о чем, Энно?

– Ну, куда ты их понесешь? Небось к себе домой?

– А по-твоему, я их в бюро находок поволоку? Ясное дело, домой понесу, к Отти. А завтра утречком двину напрямик на Мюнцштрассе, загоню всю добычу и опять заживу кум королю! Энно выдернул из бутылки пробку, послышался чирикающий звук.

– Ты лучше послушай, как наша пташка поет! Будь здоров, Эмиль! Я бы на твоём месте поступил иначе, не пошел бы домой и вообще к жене – на кой бабе знать про твои добавочные доходы? Нет, на твоём месте я бы поступил по-моему, сдал бы вещички на Штеттинском вокзале в камеру хранения, а квитанцию послал бы себе по почте, до востребования. Тогда бы у меня ничего не нашли, и никто бы ничего не доказал.

– Ловко придумано, Энно, – одобрил Баркхаузен. – А когда ты снова забереешь барахло?

– Ну, когда все устаканится, Эмиль, тогда и заберу.

– И на что будешь жить до тех пор?

– Я же сказал, пойду к Тутти. Коли расскажу ей, какую штуку провернул, она меня с распростертыми объятиями примет!

– Блеск, просто блеск! – поддакнул Баркхаузен. – Раз ты пойдешь на Штеттинский, я двину на Ангальтский. Чтобы внимания не привлекать!

– Тоже неплохо придумано, Эмиль, светлая ты голова!

– Пообщаешься с людьми, – скромно сказал Баркхаузен, – так и узнаешь то да се. Век живи – век учись.

– Твоя правда! Ну, будь здоров, Эмиль!

– Будь здоров, Энно!

Некоторое время они молчали, благодушно глядя друг на друга и нет-нет прихлебывая по глоточку. Потом Баркхаузен сказал:

– Если обернешься, Энно, ну, не сию минуту, то увидишь за спиной радио, ламп, поди, штук на десять. Я бы его забрал.

– Так и бери, Эмиль! Радио завсегда сгодится, и для дома, и на продажу! Завсегда сгодится!

- Ладно, тогда давай попробуем затолкать его в чемодан, а белье вокруг распихаем.
- Прямо сейчас или сперва еще по глоточку?
- Можно и еще по глоточку, Энно. Но только по одному!

Они пропускают по глоточку, по второму и третьему, потом медленно встают и изо всех сил стараются затолкать большой десятиламповый приемник в саквояж, куда поместился бы разве что репродуктор. После нескольких настойчивых попыток Энно вздыхает:

– Никак не лезет! Оставь ты это чертово радио, Эмиль, возьми лучше чемодан с костюмами!

– Но моя Отти любит слушать радио!

– Надеюсь, ты не собираешься рассказывать своей старухе про наше дельце? Ты что-то окосел, Эмиль!

– А ты со своей Тутти? Оба вы окосели! Где она, Тутти твоя?

– Пьянствует! Да как, скажу я тебе! – Снова чирикает пробка, покинув бутылку. – Давай еще по глоточку!

– Будь здоров, Энно!

Оба пьют.

– Но радио я все-таки хочу прихватить, – продолжает Баркхаузен. – Раз эта бандура не лезет в чемодан, обвяжу ее веревкой и повешу на шею. Чтоб руки были свободны.

– Давай, старичок. Ну что, собираем манатки?

– Ага, собираем. Пора!

Но оба так и стоят, с глупой ухмылкой глядя друг на друга.

– Если вдуматься, – опять начинает Баркхаузен, – жизнь все-таки хорошая штука. Вон сколько тут отличных вещичек, – он кивает головой, – и мы можем взять что хотим, причем делаем доброе дело, забирая шмотье у жидашки, которая все это наворовала...

– Что верно, то верно, Эмиль, мы делаем доброе дело – для немецкого народа и для фюрера. Зря, что ли, он сулил нам хорошие времена.

– И свое слово фюрер держит, еще как держит, Энно!

Они растроганно, со слезами на глазах глядят друг на друга.

– А что это вы здесь делаете, а? – доносится от двери резкий голос.

Оба вздрагивают: перед ними стоит молодчик в коричневой форме.

Баркхаузен медленно и печально кивает Энно:

– Это господин Бальдур Персике, о котором я тебе говорил, Энно! Начинаются неприятности!

Глава 8

Мелкие сюрпризы

Пока пьяные сообщники вели беседу, в большой комнате собралась вся мужская часть семейства Персике. Подле Энно и Эмиля стоит, сверкая глазами из-за шлифованных линз, жилистый коротышка Бальдур, у них за спиной – два брата в черных мундирах СС, но без фуражек, а ближе к двери, словно не вполне доверяя мирной атмосфере, старый экс-кабатчик Персике. Семейство Персике тоже под градусом, но на них шнапс подействовал совсем иначе, чем на двух взломщиков. Персике не рассиропились, не одурели, они стали еще собраннее, еще алчнее, еще жестче, чем на трезвую голову.

Бальдур Персике резко бросает:

– Ну, живо отвечайте! Что вы здесь делаете? Разве это ваша квартира?

– Но... господин Персике! – плаксиво говорит Баркхаузен.

Бальдур делает вид, будто только сейчас его узнал.

– Ба, это же Баркхаузен из подвальной квартиры во флигеле! – удивленно кричит он своим братьям. – Но что вы здесь делаете, господин Баркхаузен? – Удивление сменяется насмешкой: – Тем более среди ночи? Не лучше ли заняться супругой, доброй Оттилией? Я слышал, там у вас гулянка идет с приличными господами, а детки ваши до позднего вечера пьяные шатаются по двору. Уложили бы детишек спать, господин Баркхаузен!

– Неприятности! – бормочет тот. – Я сразу смекнул, как только увидел эту очковую змею: неприятности. – Он снова печально кивает Энно.

А Энно Клуге стоит дурак дураком. Тихонько покачивается на нетвердых ногах, уронив руку с коньячной бутылкой, и не понимает ни слова из того, что говорится.

Баркхаузен опять обращается к Бальдуру Персике. Теперь уже не плаксивым, а скорее обличающим тоном, ни с того ни с сего глубоко оскорбившись.

– Коли моя жена поступает не так, как полагается, – говорит он, – то в ответе за это я, господин Персике. Я – муж и отец, по закону. А коли мои дети выпивши, так и вы тоже выпивши, и вы тоже еще ребенок, то-то и оно!

Он со злостью смотрит на Бальдура, Бальдур, сверкая глазами, смотрит на него, а потом незаметно делает братьям знак приготовиться.

– И что же вы делаете здесь, в квартире у Розенталихи? – резко спрашивает Персике-младший.

– Всё в точности, как договаривались! – горячо заверяет Баркхаузен. – Как договаривались. Мы с приятелем сейчас уйдем. Аккурат собирались уходить. Он на Штеттинский, я на Ангальтский вокзал. Каждый с двумя чемоданами, и для вас добра – бери не хочу.

Последние слова он бормочет едва слышно, его одолевает дремота.

Бальдур пристально глядит на него. Пожалуй, можно обойтись без применения силы, оба мужика вдрызг пьяны. Но осторожность прежде всего. Он хватает Баркхаузена за плечо, резко спрашивает:

– А это что за хмырь? Как его звать?

– Энно! – отвечает Баркхаузен заплетающимся языком. – Приятель мой, Энно...

– И где проживает твой приятель Энно?

– Не знаю, господин Персике. Мы по пивнушке знакомы. В забегаловке закорешились. В пивном ресторанчике «Очередной забег»...

Бальдур решил. Неожиданно он кулаком бьет Баркхаузена в грудь, отчего тот с тихим воплем падает навзничь, на мебель и белье.

– Ах ты, зараза! – орет Бальдур. – Как ты смеешь называть меня очковой змеей? Я тебе покажу, какой я ребенок!

Но ругань его не достигает цели, оба уже ничего не слышат. Подскачившие братья-эсэсовцы успели вырубить каждого сокрушительным ударом по голове.

– Та-ак! – удовлетворенно изрекает Бальдур. – Через часок сдадим эту парочку в полицию как взломщиков, взятых с поличным. А до тех пор приберем все, что может нам пригодиться. Только на лестнице не шуметь! Я послушал, но не слышал, чтобы старик Квангель вернулся с ночной смены.

Братья кивают. Бальдур смотрит сперва на оглушенных окровавленных взломщиков, потом на чемоданы, белье, радиоприемник. И вдруг с улыбкой оборачивается к отцу:

– Ну, папаша, ловко я провернул это дельце? А ты вечно трусишь! Глянь...

Он не продолжает. Вопреки ожиданию в дверях стоит не отец: отец исчез без следа. Вместо него там стоит сменный мастер Квангель, человек с угловатым, холодным птичьим лицом, темные глаза молча глядят на Бальдура.

С ночной смены Отто Квангель возвращался пешком – хотя из-за невыполненной нормы пришлось сильно задержаться, садиться на трамвай он не стал, незачем зря деньги тратить, – и, подойдя к дому, заметил, что, несмотря на приказ о светомаскировке, в квартире фрау Розенталь горит свет. А присмотревшись, обнаружил, что свет горит и у Персике, и этажом ниже, у Фромма, в щелки по краям штор было видно. У советника апелляционного суда Фромма (никто в точности не знал, почему он в тридцать третьем вышел на пенсию – по возрасту или из-за нацистов) свет вообще-то всегда горел далеко за полночь, так что удивляться нечему. А Персике небось до сих пор отмечают победу над Францией. Но чтобы старушка Розенталь палила свет, да еще во всех комнатах и в открытую, – не-ет, что-то здесь нечисто. Старушка до смерти запугана, она бы нипочем не стала устраивать у себя такую иллюминацию.

Что-то здесь нечисто! – думал Отто Квангель, отпирая парадное и медленно поднимаясь по лестнице. По обыкновению, свет он включать не стал, поберег деньги, не только свои, но и домовладельца. Что-то здесь нечисто! Но мне-то какое дело до этих людей? Я живу сам по себе. С Анной. Нас всего двое. Вдобавок, может, гестапо аккурат сейчас проводит там обыск. То-то будет здорово, если я туда заявлюсь! Нет, пойду спать...

Однако его шепетильность, обострившаяся от упрека «ты и твой фюрер» чуть ли не до чувства справедливости, противилась этому умозаключению. С ключами в руках он, запрокинув голову, застыл в ожидании у своей двери. Дверь наверху не иначе как распахнута настежь: там виднелся тусклый свет и слышался чей-то резкий голос. Старая женщина, совсем одна, вдруг, к собственному удивлению, подумал он. Без всякой защиты...

И в этот миг из темноты вынырнула маленькая, но сильная мужская рука, схватила его за куртку и повернула к лестнице. Очень вежливый, интеллигентный голос произнес:

– Идите первым, господин Квангель. Я последую за вами и появлюсь в надлежащий момент.

Без колебаний Квангель пошел вверх по ступенькам, такая сила убеждения была в этой руке и в этом голосе. Наверняка старый советник Фромм, подумал он. Скрытный тихоня. Помоему, за все годы, что живу здесь, я видел его при свете дня меньше двух десятков раз, а сейчас вот шныряет по лестницам среди ночи!

С такими мыслями он без колебаний поднялся наверх и подошел к розенталевской квартире. А попутно успел заметить, что при его появлении какая-то упитанная фигура – должно быть, старикан Персике – поспешно ретировалась на кухню, и услышал последние слова Бальдура насчет дельца, которое они провернули, и насчет того, что нельзя вечно трусить... Теперь оба, Квангель и Бальдур, молча стояли глаза в глаза.

На секунду даже Бальдур Персике решил, что все пропало. Но затем вспомнил один из своих жизненных принципов: наглость побеждает – и слегка вызываяще проговорил:

– Что, не ожидали? Опоздали вы немножко, господин Квангель, это мы поймали и обезвредили взломщиков. – Он сделал паузу, но Квангель молчал. И уже потише Бальдур добавил: – Кстати, один из этих ворюг, кажется, Баркхаузен из дворового флигеля, его баба мужиков домой водит, а он терпит.

Взгляд Квангеля последовал за указующим перстом.

– Верно, – сухо сказал он, – один из ворюг вправду Баркхаузен.

– И вообще, – неожиданно вмешался эсэсовец Адольф Персике, – чего вы тут стоите да глаза пялите? Можете спокойно сходить в участок и сообщить о грабеже, пускай заберут этих типов! А мы тут постережем!

– Помолчи, Адольф! – сердито прищипнул Бальдур. – Нечего командовать господином Квангелем! Господин Квангель сам знает, что ему делать.

А этого-то Квангель сейчас и не знал. Будь он один, он бы немедленно принял решение. Но была ведь еще и рука на груди, и вежливый мужской голос; он понятия не имел, что задумал старый советник, чего от него ждал. Не хочется портить ему игру... Знать бы только...

Как раз в эту минуту старый советник и появился на сцене, но не рядом с Квангелем, как тот ожидал, а из глубины квартиры. Внезапно, словно призрак, повергнув Персике в еще больший ужас.

Кстати, выглядел старый советник весьма своеобразно. Изящная невысокая фигура закутана в шелковый черно-синий халат с красным шелковым кантом, застегнутый на большие красные деревянные пуговицы. Седая бородка, на верхней губе короткая щеточка седых усов. Сильно поредевшие, еще темноватые волосы тщательно уложены на темени, однако не вполне прикрывают бледную плешь. Под узкими очками в золотой оправе среди тысяч морщинок весело блестят насмешливые глаза.

– Н-да, судари мои, – непринужденно произнес он, как бы продолжая давно начатую и весьма удовлетворяющую всех беседу. – Да, судари мои, госпожи Розенталь в квартире нет. Но, быть может, один из молодых Персике благоволит пройти в туалет. Ваш батюшка, кажется, чувствует себя не очень хорошо. Во всяком случае, он то и дело пытается повеситься там на полотенце. Я не сумел его отговорить...

Советник улыбается, но старшие братья Персике бросаются прочь из комнаты с почти комической прытью. Младший Персике побледнел как полотно и совершенно протрезвел. Старый господин, который только что вошел в комнату и говорит с такой иронией, – даже Бальдур сразу признает превосходство этого человека. Оно ведь не наигранное, а самое настоящее. И Бальдур Персике почти умоляюще произносит:

– Понимаете, господин советник, отец, что греха таить, вдрызг пьян. Капитуляция Франции...

– Понимаю, конечно же понимаю, – отвечает старый советник, жестом успокаивая его. – Все мы люди, хоть и не все спьяну лезем в петлю. – Секунду он молча улыбается. Потом добавляет: – Он еще много чего наговорил, но кто станет обращать внимание на болтовню пьяного? – И опять улыбается.

– Господин советник! – просит Бальдур Персике. – Не откажите в любезности, возьмите это дело в свои руки! Вы были судьей и знаете, что необходимо предпринять...

– Нет-нет, – решительно отказывается советник. – Я стар и болен. – Однако по виду не скажешь. Напротив, вид у него цветущий. – И живу очень уединенно, почти не поддерживаю связи с миром. Но вы, господин Персике, вы и ваша семья как раз и накрыли взломщиков. Вот и передайте их полиции и позаботьтесь, чтобы из квартиры ничего не пропало. Я тут быстро осмотрелся и составил себе некоторое представление. Насчитал, например, семнадцать чемоданов и двадцать один ящик. И многое другое. И многое другое...

Он говорит все медленнее. Все медленнее. И теперь как бы невзначай роняет:

– Смею предположить, что поимка взломщиков принесет вам и вашему семейству почести и славу.

Советник умолкает. Бальдур напряженно размышляет. Вон как можно все обтяпать – ох и старая лиса этот Фромм! Наверняка все понял, наверняка папаша проболтался, но покой советнику дороже, не полезет он в такие дела. С этой стороны опасность не грозит. А Квангель, старый сменный мастер? Соседи по дому никогда его не интересовали, он никогда ни с кем не здоровается, ни с кем не разговаривает. Обычный старый работяга, тощий, замотанный, ни одной собственной мысли в голове. Навряд ли он станет без нужды нарываться на неприятности. Так что тем более не опасен.

Остаются двое пьяных болванов, что валяются на полу. Можно, разумеется, передать их полиции и откреститься от всего, что Баркхаузен сообщит, к примеру, о подстрекательстве. Ему определенно не поверят, если он даст показания против членов партии, СС и гитлерюгенда. А уж тогда можно обо всем уведомить гестапо и, пожалуй, вполне законно получить часть этих вот вещей, которые в противном случае удалось бы присвоить лишь нелегально и здорово рискуя. Вдобавок тебе еще и спасибо скажут.

Заманчивый вариант. Хотя, наверно, до поры до времени все-таки лучше про это забыть. Намять бока Баркхаузену и этому Энно, сунуть им марку-другую и отпустить. Они определенно болтать не станут. Квартиру запереть как есть, не важно, вернется Розенталиха или нет. Глядишь, позднее что-нибудь да получится – чутье подсказывает ему, что курс против евреев еще ужесточится. Набраться терпения и ждать. Что сейчас нельзя, то через полгода, глядишь, станет можно. Сейчас они, Персике, малость оплошали. Разбирательство против них вряд ли станут затевать, но сплетни в партии пойдут. И прослывят они не вполне благонадежными.

– Я бы отпустил их обоих, – говорит Бальдур Персике. – Жалко мне этих голодранцев, господин советник.

Он оглядывается по сторонам – рядом никого. И советник, и сменный мастер ушли. Как он и думал: не хотят они иметь касательства к этому делу. Умно, ничего не скажешь. Он, Бальдур, поступит так же, братья могут браниться сколько угодно.

Глубоко вздохнув обо всех этих прекрасных предметах, от которых приходится отказаться, Бальдур собирается на кухню, чтобы образумить отца и убедить братьев положить все взятое на место.

Советник меж тем говорит на лестнице сменному мастеру Квангелю, который следом за ним молча вышел из комнаты:

– Если у вас, господин Квангель, возникнут неприятности из-за госпожи Розенталь, обратитесь ко мне. Доброй ночи.

– Какое мне дело до Розентальши? Я ее знать не знаю! – протестует Квангель.

– Доброй ночи, господин Квангель! – И советник апелляционного суда Фромм уходит вниз по лестнице.

Отто Квангель отпирает дверь своей темной квартиры.

Глава 9

Ночной разговор у Квангелей

Как только Квангель открывает дверь в спальню, жена Анна испуганно восклицает:

– Не включай свет, отец! Трудель спит на твоей кровати. Тебе я постелила в той комнате на диване.

– Хорошо, хорошо, Анна, – отвечает Квангель, удивляясь, почему это Трудель непременно надо спать на его кровати. Раньше-то спала на диване.

Но он не говорит ни слова, раздевается, укладывается под одеяло на диван и лишь тогда спрашивает:

– Ты уже спишь, Анна, или поговорим немножко?

Секунду она медлит, потом отвечает в открытую дверь спальни:

– Устала я, Отто, сил нет.

Значит, она еще сердится на меня, только вот почему? – думает Отто Квангель, но говорит все тем же тоном:

– Ладно, тогда спи, Анна. Доброй ночи!

От ее кровати доносится:

– Доброй ночи, Отто!

И Трудель тоже тихонько шепчет:

– Доброй ночи, папа!

– Доброй ночи, Трудель! – отвечает он и поворачивается на бок, с одним-единственным желанием – поскорее заснуть, потому что очень устал. Но, пожалуй, он слишком устал, как иной раз можно слишком изголодаться. Сон не приходит. Долгий день с бесконечным множеством событий, день, какого в жизни Отто Квангеля никогда еще не бывало, остался позади.

Но день этот ему совсем не по душе. Мало того что все события, в сущности, были неприятными, не считая разве только освобождения от должности в «Трудовом фронте», он ненавидит эту суету, эту необходимость говорить со всякими-разными людьми, которых всех до единого терпеть не может. Еще он думает о письме с извещением о смерти Оттика, которое вручила ему Эва Клуге, думает о шпике Баркхаузене, который так неуклюже пытался его одурочить, о коридоре на шинельной фабрике, с колышущимися от сквозняка плакатами, к которым Трудель прислонялась головой. Думает о якобы столяре Дольфусе, этом мастере перекура, снова звякают медали и ордена на груди коричневого оратора, снова из темноты хватает его за грудь крепкая маленькая рука отставного советника апелляционного суда Фромма, подталкивает к лестнице. Вот молодой Персике в блестящих сапогах стоит среди белья и все бледнеет, а в углу хрипят и стонут окровавленные пьянчуги.

Он резко вздрагивает – и вправду чуть не уснул. Но минувший день таит в себе что-то еще, какую-то помеху, что-то, что он определенно слышал и опять забыл. Он садится на диване, долго и внимательно прислушивается. Все так и есть, ему не показалось. И решительно окликает:

– Анна!

Отвечает она жалобно, что на нее совсем не похоже:

– Ну что ты никак не утомилась, Отто? Мне что, уже и отдохнуть нельзя? Я же сказала, что больше разговаривать не хочу!

– Почему я должен спать на диване, – продолжает он, – если Трудель на твоей кровати? Моя-то свободна?

Секунду в спальне царит глубокая тишина, потом жена почти умоляюще говорит:

– Отец, Трудель правда спит в твоей постели! Я сплю одна, вдобавок у меня все суставы ломит...

Он перебивает:

– Не обманывай меня, Анна. Вас там трое, я по дыханию слышу. Кто спит на моей кровати?

Тишина, долгая тишина. Потом жена решительно произносит:

– Не задавай так много вопросов. Меньше знаешь, крепче спишь. Помолчи лучше, Отто.

Он упорно гнет свое:

– В этой квартире я хозяин. И не потерплю никаких секретов. Потому что отвечаю за все, что тут происходит. Кто спит на моей кровати?

Долгая тишина, очень долгая. Потом низкий голос старой женщины отвечает:

– Я, господин Квангель, я, Розенталь. Вам и вашей жене не будет от меня неприятностей, я сейчас оденусь и уйду к себе наверх!

– Сейчас вам туда нельзя, госпожа Розенталь. Там Персике и еще несколько типов. Оставайтесь на моей кровати. А завтра утречком, пораньше, в шесть или в семь, вы спуститесь к старому советнику Фромму и позвоните в его дверь в бельэтаже. Он вам поможет, он сам мне сказал.

– Спасибо большое, господин Квангель.

– Благодарите советника, а не меня. Я просто выпровожу вас из своей квартиры. Так, теперь твой черед, Трудель...

– Мне тоже выметаться, папа?

– Да, иначе нельзя. Это твой последний визит к нам, и ты знаешь почему. Может, Анна проведает тебя иной раз, но, по-моему, вряд ли. Когда она одумается и я как следует с ней потолкую...

Жена почти кричит:

– Я этого не потерплю, тогда я тоже уйду. Можешь оставаться один в своей квартире! Ты только о своем покое думаешь...

– Верно! – резко перебивает он. – Я не желаю участвовать в сомнительных делишках, а тем более в чужих сомнительных делишках. Если уж подставлять голову, так не за чужую дурость, а за собственные поступки. Я не говорю, что обязательно что-то сделаю. Но коли сделаю, то только вместе с тобой и больше ни с кем, ни с милой девушкой вроде Трудель, ни со старой беззащитной женщиной вроде вас, госпожа Розенталь. Я вовсе не утверждаю, что поступаю правильно. Но по-другому не умею. Такой уж уродился и другим быть не хочу. Все, а теперь спать!

С этими словами Отто Квангель опять ложится. В спальне еще некоторое время тихонько шепчутся, но ему это не мешает. Он знает: все будет, как он сказал. Завтра утром в его квартире снова будет порядок, и Анна тоже станет как шелковая. Больше никаких неожиданностей. И он будет один. Один. Сам по себе!

Он засыпает, и если бы кто-нибудь сейчас посмотрел на него, то увидел бы, что во сне он улыбается, увидел бы на этом жестком, сухощавом птичьем лице мрачноватую улыбку, мрачноватую и воинственную, но не злую.

Глава 10

Что случилось в среду утром

Все описанные события произошли во вторник. На следующее утро, в среду, между пятью и шестью, госпожа Розенталь в сопровождении Трудель Бауман покинула квангелевскую квартиру. Отто Квангель еще крепко спал. Трудель проводила беспомощную, вконец запуганную Розентальшу, с желтой звездой на груди, почти до дверей Фромма. Потом поднялась маршем выше, твердо решив во что бы то ни стало – пусть даже ценой собственной жизни и чести – защитить старушку от любого Персике, если тот вдруг появится на лестнице.

Трудель видела, как Розентальша нажала кнопку звонка. Дверь почти тотчас открылась, словно там уже ждали. Послышался тихий разговор, потом Розентальша вошла в квартиру, дверь закрылась, и Трудель Бауман поспешила спуститься на улицу. Парадное уже отперли.

Обеим женщинам повезло. Хотя час был очень ранний, а Персике не имели привычки вставать ни свет ни заря, буквально за пять минут до них по лестнице прошагали братья-эсэсовцы. Всего лишь пять минут – и не случилось встречи, которая при упрямой тупости и жестокости обоих парней наверняка бы стала роковой, по меньшей мере для госпожи Розенталь.

Эсэсовцы ушли не одни. Бальдур приказал братьям вывести из дома Баркхаузена и Энно Клуге (сам Бальдур успел тем временем просмотреть его документы) и доставить к женам. Взломщики-любители еще толком не очухались от выпитого спиртного и от зуботычин. Однако Бальдур Персике сумел им растолковать, что вели они себя по-свински и лишь огромное человеколюбие не позволило семейству Персике сию же минуту сдать их полиции, но болтливый язык непременно их туда приведет. Кроме того, им ни под каким видом нельзя больше появляться у Персике, и никого из Персике они отныне знать не знают. А уж если обнаглеют и опять заявятся в розенталевскую квартиру, обоих мигом отправят в гестапо.

Все это Бальдур повторил не раз, с угрозами и бранью, пока накрепко не вколотил в их отупевшие мозги. Они сидели за столом в сумрачной квартире Персике по обе стороны от Бальдура, который не закрывая рта говорил, грозил, метал громы и молнии. На диване развалились эсэсовцы, грозные, сумрачные фигуры, даром что курили сигарету за сигаретой. Энно с Баркхаузенем чувствовали себя как в суде в ожидании смертного приговора. Они ерзали на стульях, пытаясь уразуметь то, что им втолковывают. Временами впадали в дремоту и тотчас просыпались от чувствительного удара Бальдура кулака. Все, что они запланировали, сделали, выстрадали, представлялось им теперь неосуществимой грезой, оба желали лишь уснуть и забыться.

В конце концов Бальдур выпроводил их вон под конвоем братьев. И Баркхаузен, и Клуге, зная о том не зная, уносили в карманах марок по пятьдесят мелкими купюрами. Бальдур решился и на эту болезненную жертву, из-за которой предприятие «Розенталь» до поры до времени стало для семейства Персике сугубо убыточным. Но он сказал себе: вернись эти пьянчуги к женам вообще без денег, избитые и неспособные работать, бабы учинят куда больше крику и допросов, чем если мужики принесут немного деньжат. А когда мужья в таком состоянии, деньги найдут именно жены.

Старший из братьев Персике, которому надлежало доставить домой Баркхаузена, выполнил свою задачу за десять минут, те самые десять минут, в течение которых госпожа Розенталь добралась до квартиры Фромма, а Трудель Бауман вышла на улицу. Он просто взял почти не способного идти Баркхаузена за шиворот, протащил по двору, посадил на землю возле его квартиры и бесцеремонными ударами кулака по двери разбудил Отти. Та открыла и при виде грозной черной фигуры тотчас испуганно отпрянула назад, а он рявкнул:

– Вот, привел тебе муженька, старая сука! Вышвырни из постели хахалю и на его место затолкай супружника! Нечего ему по пьяни валяться у нас в парадной, все там заблевал...

Засим он удалился, предоставив Отти все остальное. Ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы раздеть Эмиля и уложить в постель, причем не без помощи приличного пожилого господина, который был у нее в гостях. И которого затем она безжалостно выставила вон, невзирая на ранний час. И возвращаться запретила: может, в другой раз встретимся где-нибудь в кафе, но не здесь, только не здесь.

Ведь с той минуты, как увидела у двери эсэсовца Персике, Оттилия пребывала в паническом ужасе. Ходили слухи, что эдакие господа в черных мундирах не прочь воспользоваться услугами женщин ее профессии, а после не платят, а отправляют в концлагерь как злостных тунеядок. Она-то думала, что живет в своем мрачном полуподвале совершенно неприметно, и вот теперь узнала, что за ней – как и за всеми в нынешние времена – постоянно подглядывают. Ведь Персике даже было известно, что в постели у нее чужой мужчина! Нет, Оттилия покамест и смотреть не желала на чужих мужиков. Сотый раз в жизни твердо пообещала себе исправиться.

Зарок дался ей без особого труда, поскольку у Эмиля в кармане она обнаружила сорок восемь марок. Спрятав деньги в чулок, Отти решила дожидаться, пока Эмиль расскажет, что с ним приключилось, но про деньги умолчать!

Перед вторым Персике задача стояла куда сложнее, главным образом потому, что идти было намного дальше, ведь проживали Клуге за парком Фридрихсхайн. Энно, как и Баркхаузен, едва-едва держался на ногах, однако ж на улице его за шиворот не возьмешь и под руку не потащишь. Персике вообще было крайне неприятно, что его увидят в компании этого конченого забулдыги, ведь сколь мало он ценил собственную честь и честь окружающих, столь высоко ставил честь своего мундира.

Приказывать Клуге идти на шаг впереди или на шаг позади опять-таки не имело смысла – тот упорно норовил сесть наземь, споткнуться, уцепиться за дерево или за стенку, налететь на прохожего. Ни удар кулака, ни самый суровый приказ не помогали – тело Энно попросту не слушалось, а крепкую выволочку, которая, наверно, все же протрезвила бы его, на улице не устроишь: народу уже многовато. Персике аж вспотел, челюсти от бешенства судорожно двигались, он клятвенно твердил себе, что непременно выскажет этому змеенышу Бальдуру свое мнение о таких поручениях.

Больших улиц приходилось избегать, делать крюк по тихим боковым переулкам. Там Персике подхватывал Клуге под мышку и тащил его так два-три квартала, пока хватало сил. Некоторое время ему изрядно докучал полицейский, видимо обративший внимание на эту несколько насильственную утреннюю транспортировку и шедший следом за ними через весь свой участок, вынуждая эсэсовца действовать мягче и заботливей.

Но когда они в конце концов добрались до Фридрихсхайна, Персике в долгу не остался. Посадил Клуге за кустами на скамейку и так отметелил, что бедняга минут десять провалялся в полном беспамятстве. Этот мелкий игрок на бегах, которого, в сущности, не интересовало ничто на свете, кроме лошадей, хотя и с ними он был знаком только по газетам, это создание, не ведавшее ни любви, ни ненависти, этот трутень, который напрягал извилины своих убогих мозгов лишь затем, чтобы придумать, как увильнуть от физических усилий, этот Энно Клуге, блеклый, жалкий, бесцветный, встретившись с семейством Персике, заработал панический страх перед любой партийной униформой, и этот страх, как выяснится впоследствии, будет цепенить его душу и рассудок при каждом контакте с партийцами.

Несколько пинков под ребра привели Энно в чувство, несколько тычков в спину поставили на ноги, и он, ковыляя как побитая собака перед своим мучителем, доплелся до самой жениной квартиры. Однако дверь была заперта: почтальонша Эва Клуге, ночью так отчаянно горевавшая о сыне, а стало быть, и о собственной жизни, вновь отправилась привычным марш-

рутом; в кармане у нее лежало письмо сыну Макс, но надежды и веры в душе почти не осталось. Она вновь разносила почту, как разносила ее уже не один год, – все лучше, чем празднично сидеть дома, терзаясь мрачными мыслями.

Персике, убедившись, что жены вправду нет дома, позвонил к соседям, случайно к той самой Геш, которая вечером накануне обманом помогла Энно пробраться в квартиру к жене. Как только дверь открылась, Персике попросту пихнул бедолагу в объятия соседки:

– Вот! Позаботьтесь о нем, он ведь тут проживает! – И ушел.

Геш твердо решила никогда больше в дела семейства Клуге не вступать. Но власть эсэсовцев была так велика, а страх обывателей перед ними так безграничен, что она покорно впустила Клуге в квартиру, посадила на кухне за стол и поставила перед ним кофе и хлеб. (Муж ее уже ушел на работу.) Разумеется, она видела, что бедняга Клуге совершенно обессилел, – судя по лицу, по изорванной рубашке, по грязному пятну на пальто, его жестоко избили. Но поскольку привел Клуге эсэсовец, от расспросов воздержалась. Вообще предпочла бы выставить его за дверь, чем слушать описание всего, что с ним стряслось. Незачем ей это знать. Не знаешь, так не проболтаешься, не протреплешься, а стало быть, не навлечешь на себя беды.

Клуге медленно жевал хлеб и пил кофе, и по лицу его катились крупные слезы боли и изнеможения. Время от времени Геш испытующе на него поглядывала, но молчала. Потом, когда он наконец покончил с едой, она спросила:

– И куда же вы пойдете? Знаете ведь, жена вас больше не примет!

Энно не ответил, тупо глядя в пространство.

– У меня вам остаться никак нельзя. Во-первых, Густав не разрешит, да и не больно-то мне охота все от вас под замок прятать. Куда же вы пойдете, а?

Ответа и на сей раз не последовало.

– В таком разе выставлю вас на лестницу! – рассердилась Геш. – Прямо сию минуту! Или как?

– Тутти... – с трудом выдавил Энно, – старая подружка... – И опять заплакал.

– Господи, вот мокрая курица! – презрительно бросила Геш. – Кабы я сразу скисала, как только что пошло наперекосяк! Тутти, значит... А как ее звать по-настоящему и где она живет?

После долгих расспросов и угроз она установила, что настоящего имени Тутти Энно Клуге не знает, но квартиру ее, пожалуй, отыщет.

– Ладно! – сказала Геш. – Только одному вам идти нельзя, любой полицейский вас миглом заарестует. Пойду с вами. Но если квартира не та, прямо там на улице вас и брошу. Недосуг мне время тратить, работать надо!

– Поспать бы маленько! – взмолился он.

Помедлив, она решила:

– Не больше часа! Через час вон отсюда! Ляжьте на диван, я вас укрою!

Пока она возилась с пледом, Энно уже крепко уснул...

Старый советник апелляционного суда Фромм самолично отворил дверь госпоже Розенталь. Провел ее к себе в кабинет, где все стены были сплошь уставлены книгами, и усадил в кресло. На столе горела лампа, рядом лежала открытая книга. Старый господин даже принес на подносе чайничек, чашку, сахар и два тонких ломтика хлеба и сказал перепуганной старушке:

– Прошу вас, госпожа Розенталь, сначала позавтракайте, а потом поговорим! – Когда же она открыла рот, собираясь сказать хотя бы спасибо, он приветливо добавил: – Нет-нет, прежде всего завтрак. Будьте как дома, берите пример с меня!

Он взял со стола книгу и начал читать, причем свободной левой рукой машинально то и дело поглаживал сверху вниз седую бородку. А о госте как будто бы совершенно забыл.

Мало-помалу перепуганная старая еврейка немножко осмелела. Уже который месяц она жила в страхе и смятении, среди упакованных вещей, постоянно готовая к самому варварскому

нападению. Который месяц не знала она ни домашнего уюта, ни покоя, ни умиротворения, ни радости. И вот теперь сидит здесь, у старого господина, которого раньше лишь изредка встречала на лестнице; со стен смотрят бесчисленные бежевые и темно-коричневые кожаные книжные корешки, у окна стоит большой письменный стол красного дерева, в первые годы брака у них тоже был такой, на полу лежит слегка вытертый цвиккауский ковер.

Вдобавок этот старый человек с книгой непрерывно поглаживает козлиную бородку, точь-в-точь такую, как носят евреи, да еще и одет в халат, чем-то похожий на сюртук ее отца.

Казалось, весь мир боли, крови и слез исчез, точно по волшебству, и она снова вернулась в те времена, когда они с мужем еще были солидными уважаемыми людьми, а не вредителями, которые подлежат уничтожению.

Она невольно пригладила волосы, лицо как бы само собой переменилось. Значит, все-таки есть на свете покой и мир, даже здесь, в Берлине.

– Я очень вам благодарна, господин советник, – сказала она. Голос тоже звучал иначе, увереннее.

Он быстро поднял глаза.

– Выпейте чаю, пока он не остыл, и поешьте хлеба. Времени у нас много, мы всё успеем. – И опять взялся за книгу.

Она послушно выпила чай и съела хлеб, хоть и предпочла бы поговорить со старым господином. Но ни в коем случае не хотела ему перечить, не хотела нарушать мир и покой его жилища. Снова огляделась вокруг. Нет, пусть все здесь останется таким, как сейчас. Она не поставит это под угрозу. (Три года спустя фугасная бомба разнесет этот дом на атомы, а учтивый старый советник умрет в подвале медленной и мучительной смертью...)

Отставив пустую чашку на поднос, она сказала:

– Вы очень-очень храбрый человек, господин советник, и очень добры ко мне. Но я не хочу без нужды подвергать опасности вас и ваш дом. Ничто ведь не поможет. Пойду к себе.

Пока госпожа Розенталь говорила, старый советник внимательно смотрел на нее, а когда она пошла было к выходу, вновь подвел ее к креслу.

– Пожалуйста, присядьте еще ненадолго, госпожа Розенталь!

Она нехотя села.

– В самом деле, господин советник, я говорю совершенно серьезно.

– Прежде послушайте-ка меня. Я тоже совершенно серьезно хочу кое-что вам сказать. Во-первых, что до опасности, какой вы меня подвергаете, так ведь я всю жизнь, с тех пор как занимаюсь юриспруденцией, нахожусь в опасности. Я был судьей апелляционного суда, и в определенных кругах меня называли не иначе, как кровавый Фромм или Фромм-палач. – Он усмехнулся, увидев, как она вздрогнула. – Я всегда был человеком тихим, да, пожалуй, и мягким, но судьба назначила мне за время службы вынести или утвердить двадцать один смертный приговор. У меня есть повелительница, которой я должен повиноваться, она властвует мною, вами, миром, даже тем миром, что сейчас вокруг нас, и зовется она справедливостью. В нее я верил всегда, верю и ныне, одной только справедливостью я руководствовался в своих поступках...

Пока говорил, он тихонько расхаживал по комнате, сцепив руки за спиной и все время оставаясь в поле зрения Розентальши. Слова слетали с его губ спокойно и бесстрастно, о себе он говорил как о постороннем, собственно, уже несуществующем человеке. Госпожа Розенталь ловила каждое слово.

– Однако, – продолжал советник, – я говорю о себе, вместо того чтобы говорить о вас, дурная привычка всех, кто живет очень уединенно. Простите, добавлю еще несколько слов об опасности. Я получал письма с угрозами, на меня нападали, в меня стреляли, десять лет, двадцать, тридцать... И вот, госпожа Розенталь, я, уже старик, сижу здесь и читаю своего Плу-

тарха. Опасность для меня ничего не значит, она меня не пугает, не занимает ни мой ум, ни мое сердце. Не говорите об опасностях, госпожа Розенталь...

– Но люди-то теперь другие, – возразила Розентальша.

– Разве я не сказал, что угрозы исходили от преступников и их пособников? Ну так вот! – Он слегка улыбнулся. – Эти люди все те же. Их стало чуть больше, а остальные стали чуть трусливее, но справедливость осталась прежней, и я надеюсь, мы с вами доживем до ее победы. – На секунду он замер, расправив плечи. Потом опять принялся расхаживать по кабинету. И тихо сказал: – А победа справедливости будет победой не этого немецкого народа!

Советник помолчал, потом заговорил снова, уже менее серьезным тоном:

– Нет, возвращаться к себе вам никак нельзя. Сегодня ночью там были Персике, партийцы, что живут надо мной, вы их знаете. У них есть ключи от вашей квартиры, и теперь они будут постоянно держать ее под наблюдением. Там вы действительно подвергнете себя совершенно ненужной опасности.

– Но я должна быть там, когда муж вернется! – взмолилась Розентальша.

– Ваш муж, – сказал советник Фромм, дружелюбно ее успокаивая, – ваш муж пока что не сможет вас навестить. Он сейчас находится в следственной тюрьме Моабит по обвинению в утаивании довольно крупных заграничных активов. Иначе говоря, пока удастся поддерживать интерес прокуратуры и налогового ведомства к этому делу, он в безопасности.

Старый советник легонько усмехнулся, ободряюще посмотрел на Розентальшу, снова прошелся по комнате.

– Но откуда вам это известно? – воскликнула Розентальша.

Он жестом успокоил ее и сказал:

– Старый судья всегда слышит то и это, даже если отошел от дел. Вам, наверно, интересно узнать, что у вашего мужа толковый адвокат и что ему обеспечены относительно приличные условия. Имя и адрес адвоката я вам не назову, он не желает визитов, связанных с этим делом...

– Но, вероятно, мне можно проведать мужа в Моабите?! – взволнованно воскликнула Розентальша. – Я бы отнесла ему свежее белье... кто позаботится там о свежем белье? И туалетные принадлежности, и, пожалуй, что-нибудь поесть...

– Дорогая госпожа Розенталь, – отставной советник положил ей на плечо руку, испещренную старческой гречкой и набухшими синими жилами, – ваш муж не может навестить вас, и вы тоже никак не можете навестить его. Такой визит ничем ему не поможет, вас к нему даже не пропустят, и себе вы только навредите.

Он посмотрел на нее. Глаза его уже не улыбались, голос тоже зазвучал сурово. Она поняла, что этого невысокого, мягкого, доброго человека когда-то вправду называли кровавым Фроммом, Фроммом-палачом, что он следовал неумолимому закону в себе, наверно, этой самой справедливости, о которой говорил.

– Госпожа Розенталь, – тихо сказал этот кровавый Фромм, – вы моя гостья, до тех пор пока соблюдаете законы гостеприимства, о которых я сейчас немного вам расскажу. Первый принцип гостеприимства таков: как только вы сделаете что-нибудь самовольно, всего однажды, один-единственный раз, дверь этой квартиры за вами закроется, и она уже никогда не откроется снова, а ваше имя и имя вашего мужа навсегда сотрутся из моей памяти. Вы меня поняли?

Советник легонько коснулся своего лба, буравя ее взглядом.

Она тихонько шепнула:

– Да.

Лишь теперь он снял руку с ее плеча. Потемневшие серьезные глаза опять посветлели, а немного погодя он опять принялся расхаживать по комнате.

– Прошу вас, – уже без прежней суровости продолжал он, – днем не покидать комнату, которую я вам сейчас покажу, и у окна там не задерживаться. Прислуга у меня, конечно, надеж-

ная, и все же... – Он с досадой осекся, бросил взгляд на книгу под настольной лампой. – Постарайтесь, как я, превратить ночь в день. Легкое снотворное вы найдете на столе, вон там. Еду я буду приносить вам ночью. А теперь пройдемте, пожалуйста, со мной.

Следом за ним она вышла в коридор. Ее вновь охватили смятение и страх, ведь хозяин дома совершенно переменился. Но она не ошиблась, сказав себе, что старый господин больше всего любит тишину и почти отвык общаться с другими людьми. Он устал от нее, стремится вернуться к своему Плутарху, кто бы тот ни был.

Советник открыл перед нею дверь, включил свет.

– Жалюзи закрыты, – сказал он. – И штора затемнения опущена, прошу вас, пусть так и остается, не то кто-нибудь увидит вас со двора. Думаю, вы найдете здесь все необходимое.

Секунду-другую он рассматривал светлую, радостную комнату с березовой мебелью, заставленным туалетным столиком на высоких ножках и кроватью с балдахином из цветастого ситца. Рассматривал так, словно давно ее не видел и теперь вспомнил, узнал. Потом очень серьезно сказал:

– Это комната моей дочери. Она умерла в тридцать третьем... не здесь, нет, не здесь. Не пугайтесь! – Он быстро пожал ей руку. – Дверь я запираю не стану, госпожа Розенталь, но прошу вас, немедленно закройте на задвижку. Часы у вас с собой? Отлично! В десять вечера я к вам постучу. Доброй ночи!

Советник пошел к выходу. На пороге он еще раз обернулся:

– В ближайшие дни вам придется побыть здесь в полном уединении, госпожа Розенталь. Постарайтесь привыкнуть. Одиночество иной раз очень полезно. И не забывайте: важен любой уцелевший, в том числе и вы, именно вы! Помните про задвижку!

Он ушел так тихо, так тихо затворил дверь – она слишком поздно сообразила, что и доброй ночи ему не сказала, и не поблагодарила. Быстро шагнула к двери, но еще по пути одумалась. Только повернула задвижку, потом села на ближайший стул, ноги дрожали. Из зеркала на туалетном столике на нее смотрело бледное лицо, опухшее от слез и бессонницы. И она медленно, печально кивнула ему.

Это ты, Сара, сказал внутренний голос. Лора, которую теперь зовут Сарой. Ты была хорошей коммерсанткой, все время в делах. Имела пятерых детей, один живет теперь в Дании, один – в Англии, двое – в США, а один лежит здесь, на Еврейском кладбище на Шёнхаузер-аллее. Я не сержусь, когда они зовут тебя Сарой. Лора постепенно превратилась в Сару; сами того не желая, они сделали меня дочерью моего народа, и только *его* дочерью. Он хороший человек, этот старый интеллигентный господин, но такой чужой, такой чужой... Я бы никогда не сумела по-настоящему с ним поговорить, как говорила с Зигфридом. По-моему, он холодный. Несмотря на доброту, холодный. Даже доброта его холодна. Все дело в законе, которому он повинуется, в справедливости этой. У меня всегда был один закон: любить детей и мужа и помогать им преуспеть в жизни. А теперь вот сижу здесь, у этого старика, и все, что я собой представляю, от меня отпало. Это и есть одиночество, о котором он говорил. Сейчас еще и половины седьмого утра нет, и до десяти вечера я его не увижу. Пятнадцать с половиной часов наедине с собой – чего только я не узнаю о себе, о чем до сих пор не ведала? Мне страшно, очень страшно! Наверно, я закричу, во сне закричу от страха! Пятнадцать с половиной часов! Полчасика-то он мог бы еще со мной посидеть. Но ему не терпелось читать свою старую книжку. При всей его доброте люди для него ничего не значат, он только справедливостью своей дорожит. И поступил так, потому что она этого требует, а не ради меня. А для меня его поступок имел бы ценность, только если бы он совершил его ради меня!

Она медленно кивает скорбному лицу Сары в зеркале. Оглядывается, смотрит на кровать. Комната моей дочери. Она умерла в тридцать третьем. Не здесь! Не здесь! – пронесется у нее в голове. Она вздрагивает. Как он это сказал. Конечно, она умерла из-за... них, но он никогда не расскажет, а я не рискну спросить. Нет, не могу я спать в этой комнате, это ужасно,

бесчеловечно. Пусть устроит меня в комнате прислуги, где постель еще теплая от тела живого человека, который там спал. Здесь я нипочем не усну. Здесь можно только кричать...

Она осторожно осматривает баночки и коробочки на туалетном столике. Высохшие кремы, комковатая пудра, позеленевшая губная помада – а она умерла еще в тридцать третьем. Семь лет. Я должна что-нибудь сделать. Какой сумбур внутри – от страха. Теперь, когда я очутилась на этом островке мира и покоя, страх вылезает на поверхность. Я должна что-нибудь сделать. Нельзя мне сидеть наедине с собой.

Она порылась в своей сумке. Нашла бумагу и карандаш. Напишу детям, Герде в Копенгаген, Эве в Илфорд, Бернхарду и Штефану в Бруклин. Но писать бессмысленно, почта не работает, война. Напишу Зигфриду, найду способ тайком переправить письмо в Моабит. Если старая служанка и вправду надежна. Советнику знать об этом незачем, а я могу дать ей денег или что-нибудь из драгоценностей. У меня пока кое-что есть...

Она и это достала из сумки, положила перед собой – деньги в конвертах, украшения. Взяла в руки браслет. Подарок Зигфрида, когда родилась Эва. Первые роды, я тогда очень натерпелась. Как он хохотал, увидев ребенка! Живот трясся от смеха. Все невольно смеялись, когда видели ребенка с черными кудряшками и пухлыми губками. Говорили: белый негренок. А мне Эва казалась красавицей. Тогда Зигфрид и подарил мне этот браслет. Дорогуший – он все потратил, что выручил за неделю распродаж. Я так гордилась, что стала матерью. Браслет ничего для меня не значил. У Эвы теперь у самой три девочки, Гарриет уже девять лет. Наверно, она часто думает обо мне там, в Илфорде. Но что бы ни думала, ей и в голову не придет, что ее мать сидит здесь, в комнате покойной дочери кровавого Фромма, который повинуетсЯ одной лишь справедливости. Сидит одна-одинешенька...

Отложив браслет, она взяла в руки кольцо. Целый день просидела над своими вещами, тихонько бормотала себе под нос, цепляясь за прошлое, не желала думать о том, кто она теперь.

Временами ее захлестывал неистовый страх. Один раз она уже была возле двери, твердила себе: если б я только знала, что они мучают недолго, что убивают быстро и безболезненно, то пошла бы к ним. Невмоготу мне это ожидание, к тому же, вероятно, оно бессмысленно. Рано или поздно меня все равно схватят. И почему важен любой уцелевший, почему именно я? Дети будут реже думать обо мне, внуки вообще перестанут, Зигфрид в Моабите тоже скоро умрет. Не понимаю, что имел в виду советник, вечером непременно спрошу. Но он, верно, только усмехнется и скажет что-нибудь такое, от чего мне вообще никакого толку, потому что я обыкновенный человек, даже теперь, человек из плоти и крови, постаревшая Сара.

Она оперлась рукой о туалетный столик, печально всмотрелась в свое лицо, покрытое сеткой морщинок. Морщины, оставленные заботой и страхом, ненавистью и любовью. Потом вернулась к столу, к своим украшениям. Чтобы скоротать время, снова и снова пересчитывала купюры; немного погодя попыталась разложить их по сериям и номерам. Иногда добавляла фразу в письмо мужу. Но письма не вышло, только несколько вопросов: как он там устроен, чем питается, не может ли она позаботиться о его белье? Мелкие, несущественные вопросы. И еще: у нее все хорошо. Она в безопасности.

Нет, это не письмо, так, бессмысленная, никчемная болтовня, вдобавок лживая. Она вовсе не в безопасности. Никогда за последние ужасные месяцы она не чувствовала такой опасности, как в этой тихой комнате. Знала, что здесь поневоле станет другой, не сможет убежать от себя. И страшилась перемены. Вдруг ей придется тогда пережить и вынести еще большие ужасы, а ведь она и без того против воли стала из Лоры Сарой. Она не хотела, ей было страшно.

Позднее она все же легла на кровать и, когда в десять вечера хозяин дома постучал в дверь, спала так крепко, что не слышала. Он осторожно открыл дверь ключом, который поворачивал задвижку, и, увидев спящую, с улыбкой кивнул. Принес поднос с едой, поставил на

стол и, отодвигая в сторону украшения и деньги, снова с улыбкой кивнул. А потом тихонько вышел из комнаты, снова закрыл дверь на задвижку, не стал ее будить...

Так вот и получилось, что первые три дня своего «защитного ареста» госпожа Розенталь не видела ни единой живой души. Ночью она всегда спала, чтобы затем целый день изнывать от мучительного страха. На четвертый день, уже на грани безумия, она кое-что сделала...

Глава 11

Все еще среда

Прошел час, но у Геш духу не хватило разбудить спящего на диване бедолагу. Измученный, он выглядел во сне таким несчастным, на лице начали проступать кровоподтеки. Нижняя губа выпячена, как у обиженного ребенка, веки временами подрагивают, грудь поднимается в тяжелом вздохе, будто он прямо сейчас, во сне, разрыдается.

Приготовив обед, Геш все-таки разбудила его и усадила за стол. Энно пробормотал что-то вроде спасибо. Ел с волчьей жадностью, то и дело поглядывая на нее, но ни слова не говорил о случившемся.

В конце концов она сказала:

– Больше дать не могу, мне еще Густава кормить. Ложитесь-ка на диван и вздремните еще маленько. А с вашей женой я потом сама...

Он опять что-то пробурчал, не поймешь – то ли соглашаясь, то ли возражая. Но к дивану шагнул с удовольствием и через минуту вновь крепко спал.

Уже под вечер, услышав, как у соседки открылась входная дверь, Геш тихонько шмыгнула на площадку и постучала. Эва Клуге отворила сию же минуту, но стала на пороге так, что в квартиру не войдешь.

– Ну? – враждебно спросила она.

– Извините, госпожа Клуге, опять я вас беспокою, – начала Геш. – Но ваш муж лежит у меня. Бугай-эсэсовец нынче утром приволок, вы только-только ушли.

Эва Клуге по-прежнему враждебно молчала, и Геш продолжила:

– Отделали его ужас как, живого места нету. Муженек у вас, конечно, не подарок, но в таком виде выставлять его на улицу не годится. Вы только гляньте на него, госпожа Клуге!

– Нет у меня больше мужа, госпожа Геш! – непреклонно произнесла Эва. – Я же вам сказала: слышать о нем больше не желаю. – Она хотела было вернуться в квартиру.

– Не спешите, госпожа Клуге, – не унималась Геш. – Как-никак он вам муж. Дети у вас...

– Этим я особенно горжусь, госпожа Геш, этим особенно!

– Люди бывают жестоки, госпожа Клуге, и то, что вы собираетесь сделать, как раз жестоко. Нельзя ему в таком виде на улицу.

– А что он годами надо мной вытворял, не жестоко? Мучил меня, всю жизнь мне поломал, в конце концов даже любимого сынка отнял – и я должна пожалеть его, только потому, что он получил взбучку от эсэсовцев? И не подумаю! С него все взбучки как с гуся вода!

После этих слов, яростных и злобных, Эва Клуге просто-напросто захлопнула дверь перед носом у соседки и тем положила конец беседе. Сколько можно терпеть эту пустопорожнюю болтовню! Так и мужа, чего доброго, опять в дом впустишь, лишь бы не слышать больше этой болтовни, а потом придется локти кусать!

Она села в кухне на стул и, глядя на голубоватое газовое пламя, вспоминала минувший день. Болтовня, сплошная болтовня. С той минуты, как она сообщила почтовому начальнику, что хочет выйти из партии, причем незамедлительно, ничего больше и не было, кроме болтовни. Ее освободили от доставки писем, зато непрерывно допрашивали, во что бы то ни стало хотели узнать, почему она желает выйти из партии. По каким причинам.

Она упрямо твердила одно: «Это никого не касается. Не желаю я говорить о причинах. И выйти из партии хочу прямо сегодня!»

Однако чем больше она упорствовала, тем настойчивее они становились. Больше их ничего не интересовало, только это «почему». К полудню явились еще двое штатских с портфелями, тоже без передышки ее выспрашивали. Про жизнь, про родителей, братьев-сестер, мужа и детей...

Поначалу она отвечала охотно, радуясь, что наконец-то не требуют объяснить причины выхода из партии. Но затем, когда дошло до ее семейной жизни, снова уперлась. Следом начнут выпытывать про детей, а она не сумеет рассказать про Карлемана гладко, и эти проныры догадаются, что дело неладно.

Нет, про это она словом не обмолвилась. Это – личное. Ее семейная жизнь и дети никого не касаются.

Но штатские не отставали. Они знали много способов. Один слазил в портфель, достал какой-то документ и принялся читать. Ей очень хотелось узнать, что он читает, ведь в уголовной полиции на нее ничего нет. Что эти штатские как-то связаны с полицией, Эва сообразила.

Потом они снова взялись за расспросы. Документ, видимо, касался Энно. Потому что теперь ее расспрашивали о его болезнях, о его лени, о страсти к бегам и о его бабах. Началось все опять-таки совершенно невинно, а потом она вдруг почувяла опасность, закрыла рот на замок и больше ничего не сказала.

Нет, это тоже дело личное. И никого не касается. Отношения с мужем – ее личное дело. Кстати, живет она отдельно от него.

И тут ее снова прищучили. С каких пор она живет отдельно? Когда видела мужа последний раз? Не связано ли ее желание выйти из партии с этим человеком?

Эва Клуге лишь качала головой. Но с ужасом думала, что, вероятно, они теперь и Энно допросят, а этот тюфяк за полчаса все им выложит! И, как говорится, выставит ее голышом на всеобщее обозрение, с ее позором, о котором пока что знала только она одна. Чего доброго, еще и напишут про нее, и тогда в партии пойдут бесконечные разговоры о матери, родившей такого вот сына.

«Личное дело! Сугубо личное!»

Почтальонша, задумчиво наблюдавшая за пляской голубых язычков газового пламени, резко вздрагивает. Вчера она совершила серьезную ошибку, упустила возможность на время спрятать Энно. Всего-то и надо было дать ему денег на неделю-другую да сказать, чтобы схоронился у какой-нибудь из своих подружек.

Она звонит в дверь Геш.

– Знаете, госпожа Геш, я передумала, не мешало бы перемолвиться с мужем хоть словечком-другим!

Теперь, когда соседка идет на уступки, Геш злится:

– Что бы вам пораньше одуматься-то! Ушел муженек ваш, добрых двадцать минут назад. Опоздали вы!

– Куда он пошел?

– Почем я знаю? Вы ж его вышвырнули! Небось к бабе какой-нибудь!

– А не знаете, к какой? Пожалуйста, скажите мне, госпожа Геш! Это вправду очень важно...

– Ах, теперь уж и важно?! – И Геш нехотя добавляет: – Он про какую-то Тутти толковал...

– Тутти? – переспрашивает Эва. – Это же, поди, Труда, то бишь Гертруда... А фамилию он не упоминал?

– Фамилию он и сам не знает! Даже не знал в точности, где она живет, думал только, что найдет. Правда, в его состоянии...

– Может, он еще объявится... – задумчиво говорит Эва Клуге. – Тогда пошлите его ко мне. Так или иначе, спасибо вам, госпожа Геш. И доброго вечера!

Но Геш не отвечает и с грохотом захлопывает дверь. Не забыла пока, как соседка закрыла дверь у нее перед носом. И еще подумает, посылать ли к ней мужа, коли он впрямь снова сюда явится. Думать надо было вовремя.

Эва Клуге возвращается к себе на кухню. Странно: хотя разговор с Геш результата не принес, от него стало легче. Что ж, все должно идти своим чередом. Она сделала все возмож-

ное, чтобы себя не запятнать. Отреклась от отца и от сына и вытравит обоих из своего сердца. Заявила о выходе из партии. А теперь будь что будет. Изменить она ничего не может, даже самое худшее ее уже сильно не напугает, после всего, что она пережила.

Она не очень-то испугалась, даже когда те штатские допросчики перешли от бесполезных вопросов к угрозам. Она, мол, наверняка знает, что выход из партии может стоить ей должности на почте? Более того: если она, отказываясь назвать причины, по-прежнему хочет выйти из партии, то ее сочтут политически неблагонадежной, а для таких лиц существуют концлагеря! Она, поди, об этом тоже слыхала? Там политически неблагонадежных быстренько делают благонадежными, на всю жизнь благонадежными. Понятно?!

Эва Клуге не испугалась. Стояла на своем: личное значит личное, а насчет личного она распространяться не станет. В конце концов ее отпустили. Нет, заявление о выходе из партии пока что не утвердили, об этом ее уведомят. А вот от почтовой службы она временно отстранена. И не должна покидать свою квартиру, на всякий случай...

Она наконец передвигает забытую кастрюльку с супом на зажженную конфорку и внезапно решает отказаться от повиновения и в этом пункте. Не станет она сидеть сложа руки в квартире и дожидаться мучительств от этих господ. Нет, завтра же утром шестичасовым поездом уедет к сестре, в деревню под Руппином. Там можно две-три недели пожить без регистрации, уж как-нибудь они ее прокормят. У них там корова, и свиньи, и участок с картошкой. Она будет работать, в хлеву и в поле. Ей это пойдет на пользу, все лучше, чем вечно мотаться с почтовой сумкой – туда-сюда, туда-сюда!

Едва решив уехать из города, она оживает. Достает саквояж, начинает собираться. Секунду размышляет, не предупредить ли Геш хотя бы о том, что она уезжает, куда – говорить не обязательно. Но решает: нет, лучше ничего соседке не говорить. Все, что сейчас делает, она делает только ради себя, в одиночку. И втягивать никого не станет. Сестре и зятю тоже ничего не скажет. Впервые будет жить сама по себе. До сих пор она всегда о ком-нибудь заботилась – о родителях, о муже, о детях. А теперь осталась одна. На миг кажется, что одиночество придется ей по душе. Может статься, в одиночестве из нее все-таки что-нибудь да выйдет, теперь, когда у нее наконец найдется время для себя и не понадобится ради других забывать о собственном «я».

Этой ночью, которая так пугает госпожу Розенталь своим одиночеством, почтальонша Эва Клуге впервые вновь улыбается во сне. Ей снится, будто она стоит на огромном картофельном поле, с тяпкой в руке. Куда ни глянь – всюду только картошка, а она совершенно одна: ей надо прополоть от сорняков все картофельное поле. Она улыбается, поднимает тяпку, та звонко лязгает о камень, стебель лебеды падает наземь, а она все машет и машет тяпкой.

Глава 12

Энно и Эмиль после шока

Хлюпику Энно Клуге пришлось куда хуже, чем его «корешу» Эмилю Баркхаузену, которого после ночных невзгод жена – какая-никакая, а все-таки жена – в конце концов уложила в постель, хотя тотчас и обобрала. Тщедушный игрок на бегах и колотушек огреб намного больше, чем долговязый, костлявый шпик-любитель. Н-да, Энно здорово досталось.

Меж тем как он боязливо бредет по улицам, разыскивая свою Тутти, Баркхаузен уже встал с постели, нашел на кухне кой-какие харчи и мрачный, задумчивый усиленно ест. Потом нашаривает в комодке пачку сигарет, закуривает, сует пачку в карман и опять в мрачной задумчивости сидит у стола, подперев голову рукой.

Таким его находит Отти, вернувшись из похода по магазинам. Конечно, она сразу видит, что он ел, и, зная, что курева у него не было, мигом обнаруживает кражу из своего комода. И как ни напугана, немедленно затевает скандал:

– Ничего себе – мужик лопает мои харчи и тырит у меня сигареты! Живо выкладывай курево, сию минуту! Или плати! Деньги на бочку, Эмиль!

Она с нетерпением ждет, что он скажет, но особенно не боится. Сорок восемь марок она уже истратила, попробуй отбери!

А из его ответа, хотя и злобного, заключает, что про деньги ему впрямь ничего не известно. Отти чувствует превосходство над этим болваном – выпотрошила его, а он даже не подозревает!

– Заткни пасть! – бурчит Баркхаузен, не поднимая головы. – И катись отсюда, не то мигом ребра тебе пересчитаю!

Она уходит, но кричит с порога кухни, просто потому, что последнее слово всегда должно остаться за ней и потому, что чувствует свое превосходство (хотя и опасается Эмиля):

– Смотри, как бы в СС тебе ребра не пересчитали! Не ровен час, так оно и будет!

С этими словами она удаляется на кухню, где вымещает обиду на ребятишках.

А Эмиль по-прежнему задумчиво сидит в комнате. Он мало что помнит о ночных происшествиях, но хватает и того немногого, что он запомнил. Думает он о том, что вон там, наверху, квартира Розенталихи, которую Персике небось уже успели обчистить, а ведь он мог столько всего прибрать к рукам! По собственной дурости все проморгал!

Не-ет, виноват Энно, это Энно начал хлестать коньяк, с самого начала Энно был выпивши. Без Энно он бы теперь имел кучу всякого барахла, белье и одежду; ему смутно вспоминается еще и радио. Будь Энно сейчас здесь, он бы шкуру с него спустил, с этого трусливого слабака, который всю музыку испортил!

Однако секунду спустя Баркхаузен вновь пожимает плечами. В сущности, кто такой этот Энно? Трусливая вошь, которая обирает баб, тем и живет! Нет, уж кто вправду виноват, так это Бальдур Персике! Этот юнец, этот сопливый гитлерюгендовский фюрер с самого начала задумал его обдурить! Заранее подготовился, выбрал козла отпущения, чтоб безнаказанно присвоить всю добычу! Здорово придумал, змей подкольный, кобра очкастая! Обвел его вокруг пальца, сопля паршивая!

Баркхаузен не вполне понимает, почему, собственно говоря, сидит сейчас не в КПЗ на Александерплац, а у себя в квартире. Видно, что-то им помешало. Он смутно припоминает две фигуры, но кто это был и откуда взялся, он и тогда спяну не понял, а уж теперь тем более не понимает.

Знает он только одно: Бальдуру Персике он этого никогда не простит. Как бы высоко тот ни вскарабкался по партийной лестнице, Баркхаузен его из виду не упустит. Баркхаузен умеет ждать. Баркхаузен ничего не забывает. Этот соплик – придет день, узнает он, где раки зимуют,

в дерьмо-то окунется по самые уши! Да так, что никогда не отмоеся. Заложить кореша? Нет, такого не прощают и не забывают! Замечательные вещички в розенталевской квартире, чемоданы, и ящики, и радиоприемник, – все это могло достаться ему!

Баркхаузен все думает, думает, одно и то же, а попутно украдкой достает серебряное ручное зеркальце Отти, последнюю память о щедром клиенте времен панели, рассматривает и ощупывает свою физиономию.

Тем временем хлюпик Энно глянул в зеркало модного магазина и увидел собственное лицо. И пришел от этого в полнейшую панику. Он больше не смеет поднять глаза на прохожих, но ему чудится, будто все смотрят на него. Энно бродит задними дворами и проулками, поиски Тутти все больше утрачивают смысл, он не помнит даже примерно, где она живет, и не понимает уже, где находится сам. Но заворачивает в каждую темную подворотню, всматривается в окна на задних дворах. Тутти... Тутти...

Сумерки быстро густеют, а ведь до наступления ночи просто необходимо найти приют, иначе его сцапает полиция и, увидев, в каком он состоянии, будет мордовать, пока он все им не выложит. А стоит рассказать про этих Персике – он со страху наверняка проболтается! – так Персике его вообще прикончат.

Энно бредет и бредет, все дальше, дальше...

В конце концов он выбивается из сил. Садится на скамейку и сидит, больше не в состоянии идти и что-нибудь придумывать. Потом начинает машинально рыться по карманам – сигаретка наверняка бы чуток его взбодрила.

Сигаретки Энно не находит, зато находит то, чего совершенно не ожидал, а именно деньги. Сорок шесть марок. Госпожа Геш еще несколько часов назад могла бы сказать ему, что в кармане у него есть деньги, прибавила бы бедолаге уверенности в поисках ночлега. Однако Геш, понятно, не хотелось признаваться, что она, пока он спал, обшарила его карманы. Геш – женщина порядочная и сунула денюжата на прежнее место, правда, после короткой внутренней борьбы. Найди она их у своего Густава, выгребла бы не раздумывая, но у чужого мужика, нет, она не такая! Конечно, три марки из сорока девяти Геш забрала. Но ведь не украла же, вычла по праву, за еду, которой угостила Клуге. Накормила бы и бесплатно, но с какой стати даром кормить чужого мужика, у которого есть деньги? Это уже слишком.

Так или иначе, сорок шесть марок весьма взбадривают приунывшего Энно Клуге, теперь-то пристанище на ночь наверняка обеспечено. И память тоже опять включилась. Где живет Тутти, он по-прежнему понятия не имеет, но вдруг всплыло, что познакомились они в одном маленьком кафе, куда она частенько заходила. Может, там знают, где она живет.

Энно встает, продолжает путь. Прикидывает, где он сейчас, и, увидев трамвай, который может доставить его поближе к нужному месту, даже влезает на темную переднюю площадку первого вагона. Там до того темно и тесно, что никто особо не обратит внимания на его лицо. Потом заходит в кафе. Нет, не поесть, он шагает напрямик к стойке и спрашивает у буфетчицы, не знает ли она, где Тутти, может, Тутти до сих пор здесь бывает.

Резким визгливым голосом буфетчица на все кафе вопрошает, какую Тутти он имеет в виду. В Берлине этих Тутти пруд пруди!

Оробевший хлюпик смущенно отвечает:

– Ну, Тутти, она тут все время бывала! Темноволосая такая, полноватая...

Ах, вон оно что! Нет, эту Тутти они больше знать не желают! Пусть даже и не думает сюда соваться – о ней здесь и слышать никто не хочет!

С этими словами буфетчица возмущенно отворачивается от Энно. Клуге бормочет извинения и поспешно покидает кафе. В растерянности, не зная, как быть, он стоит на ночной улице, когда из кафе выходит еще один посетитель, пожилой, на взгляд Энно – довольно потре-

паннный. Делает шаг-другой в сторону Энно, потом, собравшись с духом, снимает шляпу и спрашивает, не он ли только что спрашивал в кафе про некую Тутти.

– Не исключено, – осторожно отвечает Энно Клуге. – А почему вы спрашиваете?

– Да так. Просто могу вам сказать, где она проживает. Даже готов проводить вас до ее квартиры, только взамен и вы сделайте мне небольшое одолжение!

– Какое такое одолжение? – еще осторожнее спрашивает Энно. – Не знаю, что за одолжение я могу вам сделать. Мы же с вами незнакомы.

– Ах, да пойдемте же! – восклицает пожилой. – Нет-нет, сюда, так короче. Дело вот в чем: у Тутти остался чемоданчик с моими вещами. Может, завтра утром быстренько вынесете его мне, пока Тутти спит или ходит за покупками?

(Пожилой, видать, совершенно уверен, что Энно останется у Тутти на ночь.)

– Не-ет, – говорит Энно. – Не вынесу. Я в такие дела не лезу. Извините.

– Но я могу точно вам сказать, что лежит в чемоданчике. Он вправду мой!

– Тогда почему вы сами Тутти не попросите?

– Ну, коли вы этак говорите, – обиженно отзывается пожилой, – то, стало быть, Тутти не знаете. Это ж бой-баба, иначе не скажешь! За словом в карман не лезет, да что там, у ней не язык, а бритва! Кусается и плюется, как макака! Недаром ее и прозвали Макакой!

Пока пожилой господин набрасывает словесный портрет очаровательной Тутти, Энно Клуге с ужасом вспоминает, что Тутти действительно такая и есть и что последний раз он увел у нее портмоне и продуктовые карточки. А в сердцах она впрямь кусается и плюется, как макака, и, пожалуй, немедля обрушится на него, Энно, если он сейчас к ней сунется. Все его фантазии насчет ночлега у Тутти – в самом деле только фантазии...

Внезапно Энно Клуге с легкостью решает отныне жить по-другому – никаких историй с бабами, никаких мелких краж, никакой игры на бегах. В кармане у него сорок шесть марок, вполне хватит до ближайшего платежного дня. Завтра он еще позволит себе отдохнуть, потому что слишком измучен, а вот послезавтра опять начнет трудовую жизнь. Всем покажет, что таких работников днем с огнем не сыщешь, и на фронт его нипочем не отправят. После всего, что случилось за последние двадцать четыре часа, он в самом деле рисковать не может и к Тутти не пойдет.

– Н-да, – задумчиво произносит Энно Клуге, обращаясь к пожилому. – Верно, Тутти, она такая. Поэтому я раздумал к ней идти. Заночую вон в той маленькой гостинице. Доброй ночи, сударь... Сожалею, но...

С этими словами он осторожно – каждое движение отдается болью в измолоченном теле – идет прочь и, несмотря на замордованный вид и полное отсутствие багажа, выпрашивает у потрепанного швейцара ночлег за три марки. В тесной, вонючей каморке забирается в постель, явно послужившую уже не одному постояльцу, вытягивается, говорит себе: отныне буду жить совсем иначе. Я вел себя как последняя сволочь, особенно по отношению к Эве, но с этой минуты стану другим. Взбучку я получил по заслугам, но отныне непременно стану другим...

Он тихонько лежит на узкой койке, руки по швам, и смотрит в потолок. Дрожит от холода, от изнеможения, от боли. Но не замечает этой дрожи. Думает, каким уважением и любовью, бывало, пользовался на работе и кем теперь стал – облезлый тип, на которого все плюют. Н-да, взбучка пошла ему впрок, теперь все изменится. И, рисуя себе новую жизнь, Энно засыпает.

Спит и семейство Персике, спят Геш и Эва Клуге, спят супруги Баркхаузен – Эмиль молча позволил Отти примоститься рядом.

Тревожно, тяжело дыша, спит старушка Розенталь. Спит и юная Трудель Бауман. Под вечер она сумела шепнуть одному из заговорщиков, что непременно должна кое-что сообщить и что завтра вечером им обязательно нужно встретиться в «Элизиуме», причем не привлекая внимания. Она побаивается, потому что должна признаться в болтливости, но все-таки засыпает.

Анна Квангель в потемках лежит на кровати, а муж ее в эту ночную пору, как всегда, в цеху, внимательно следит за рабочим процессом. В технический отдел по поводу рационализации производства его так и не вызвали, там тоже считают его полным идиотом. Что ж, тем лучше!

Анна Квангель, лежа в постели без сна, снова и снова поражается, до чего муж холодный и бессердечный. Как он воспринял смерть Оттика, как выпроваживал из квартиры бедняжку Трудель и Розентальшу – холодно, бессердечно, думая только о себе. Никогда больше она не сможет относиться к нему как раньше, когда думала, что он хоть немножко любит ее. Теперь-то она поняла. Он просто обиделся на ненароком сорвавшееся с языка «ты и твой фюрер», просто обиделся. Теперь она нескоро опять его обидит, нескоро опять начнет с ним разговаривать. Сегодня они ни слова друг другу не сказали, даже не поздоровались.

Отставной советник апелляционного суда Фромм еще бодрствует, как всегда по ночам. Мелким угловатым почерком пишет письмо, обращение гласит: «Глубокоуважаемый господин имперский прокурор...»

Под настольной лампой его ждет открытый Плутарх.

Глава 13

Победный танец в «Элизиуме»

В этот пятничный вечер танцзал «Элизиума», большого дансинга на севере Берлина, являл собою зрелище, которое не могло не радовать глаз любого нормального немца: мундиры, сплошь мундиры. И не столько вермахт, чей серый или зеленый служили насыщенным фоном этой красочной картине, в куда большей степени яркость обеспечивали мундиры партии и ее подразделений – коричневые, светло-коричневые, золотисто-коричневые, темно-коричневые и черные. Рядом с коричневыми рубашками штурмовиков виднелись гораздо более светлые рубашки гитлерюгенда, присутствовали здесь и Организация Тодта¹² и Имперская служба труда¹³, попадались и почти желтые мундиры вермахтовских зондерфюреров, которых прозвали золотыми фазанами, а также политических руководителей и сотрудников Гражданской обороны. И принарядились таким манером не только мужчины, многие молодые девушки тоже носили форму; Союз немецких девушек, Служба труда, Организация Тодта – все они, казалось, направили сюда своих фюрерш, унтер-фюрерш и рядовых членов.

Немногочисленные штатские совершенно терялись в этой пестрой толчее, такие жалкие среди этих мундиров, ничего не значащие, как ничего не значил для партии штатский народ на улицах и на фабриках. Партия была всем, народ – ничем.

Потому-то девушка и трое молодых парней, сидевшие за столиком на краю зала, не привлекали особого внимания. Все четверо штатские, даже без партийных значков.

Двое – девушка и один из парней – пришли первыми; затем появился второй парень, попросил разрешения сесть за столик, а еще немного погодя – третий, с такой же просьбой. Парочка сделала еще и попытку потанцевать, несмотря на сутолоку. Двое других парней тем временем завели разговор, к которому присоединилась и вернувшаяся пара, разгоряченная и помятая в толчее.

Один из парней, лет тридцати, с высоким лбом и уже заметными залысинами, откинулся на спинку стула и некоторое время молча присматривался к толкотне на танцполе и к соседним столикам. После чего, не глядя на остальных, сказал:

– Неудачное место для встречи. Наш столик чуть ли не единственный, где одни штатские. Мы бросаемся в глаза.

Кавалер девушки, улыбаясь, сказал своей даме, однако слова его предназначались парню с залысинами:

– Напротив, Григоляйт, на нас вовсе не обращают внимания, в упор не видят. Эта публика думает только о том, что так называемая победа над Францией – повод танцевать две недели подряд.

– Никаких имен! Ни в коем случае! – резко бросил парень с залысинами.

На мгновение все замолчали. Девушка что-то чертила пальцем на столе, глаз она не поднимала, хотя чувствовала, что все смотрят на нее.

– Так или иначе, Трудель, – сказал третий парень, с лицом невинного младенца, – сейчас самое время послушать тебя. Что случилось? За соседними столиками почти никого, все танцуют. Выкладывай!

Молчание остальных парней могло означать только согласие. И Трудель Бауман, запинаясь, не поднимая глаз, сказала:

¹² Организация Тодта – полувоенная правительственная организация в нацистской Германии, занимавшаяся строительством дорог.

¹³ Имперская служба труда – организация, следившая за исполнением обязательной трудовой повинности всеми трудоспособными и совершеннолетними гражданами нацистской Германии.

– Кажется... я совершила ошибку. Во всяком случае, не сдержала слово. На мой взгляд, это, пожалуй, не ошибка...

– Прекрати! – презрительно воскликнул парень с залысинами. – Так и будешь ходить вокруг да около? Хватит попусту болтать, говори прямо, в чем дело!

Девушка подняла голову. Медленно обвела взглядом парней, которые, как ей казалось, смотрели на нее беспощадно и холодно. В глазах у нее стояли слезы. Она хотела заговорить, но не могла. Поискала платок...

Высоколобый откинулся на спинку стула. Тихонько протяжно присвистнул.

– Хватит болтать? Да она уже проболталась! Гляньте на нее!

– Не может быть! – поспешно возразил девושкин кавалер. – Трудель не такая. Скажи им, что ты не проболталась, Трудель! – Он ободряюще пожал ее руку.

Парень с лицом младенца выжидательно, почти бесстрастно устремил на Трудель свои круглые голубые глаза. Долговязый с залысинами пренебрежительно усмехнулся. Затушил сигарету в пепельнице и иронически произнес:

– Ну-с, барышня?

Трудель собралась с духом и храбро прошептала:

– Он прав. Я проболталась. Свекор пришел с известием, что мой Отто погиб. И я совершенно потеряла голову. Сказала ему, что работаю в коммунистической ячейке.

– Имена называла? – Кто бы мог подумать, что безобидный Младенец способен спрашивать так жестко.

– Нет, конечно. Я вообще ничего больше не говорила. А мой свекор – старый рабочий, он никому словечка не скажет.

– погоди ты про свекра, пока что речь о тебе! Имен ты, значит, не называла...

– Ты должен мне верить, Григоляйт! Я не вру. Я же сама честно призналась.

– Вы опять назвали имя!

– Неужели вам непонятно, – сказал Младенец, – что совершенно не важно, называла она имена или нет? Она сказала, что работает в ячейке, проболталась один раз, а стало быть, проболтается снова. Если известные господа возьмут ее в оборот да помучают немножко, она все им выложит, а в таком случае совершенно безразлично, сколько она выболтала до тех пор.

– Им я никогда ничего не скажу, умру, но не скажу! – воскликнула Трудель, щеки у нее вспыхнули.

– Хм, умереть – дело нехитрое, госпожа Бауман, – сказал тот, что с залысинами, – только вот перед смертью иной раз случаются весьма неприятные вещи!

– А вы жестоки, – сказала девушка. – Я совершила ошибку, но...

– Согласен, – сказал парень, сидевший рядом с ней на диване, – надо присмотреться к вашему свекру, и если он человек надежный...

– При нынешней власти о надежности говорить не приходится, – ввернул Григоляйт.

– Трудель, – ласково улыбнулся Младенец, – Трудель, ты ведь сказала, что имен не называла?

– Так и было!

– И добавила: умру, но не скажу! Верно?

– Да! Да! Да! – с жаром воскликнула она.

– Ну что ж, Трудель, – Младенец обаятельно улыбнулся, – как насчет умереть сегодня вечером, пока ты все не развонила? Это обеспечило бы определенную безопасность и избавило нас от уймы работы...

За столиком повисла мертвая тишина. Девушка побелела как мел. Ее кавалер пробормотал «нет», быстро положил свою руку поверх ее и тотчас же отдернул.

Тем временем танцоры вернулись за столики, и продолжать разговор стало невозможно.

Парень с залысинами опять закурил; заметив, что рука у него дрожит, Младенец слегка усмехнулся. А потом сказал темноволосому, сидевшему подле бледной, безмолвной девушки:

– Вы сказали «нет». Но почему, в самом-то деле? Ведь решение вполне приемлемое, и предложила его, как я понимаю, сама ваша соседка.

– Решение неприемлемое, – медленно проговорил темноволосый. – Смертей и без того слишком много. Мы тут не затем, чтобы умножать их количество.

– Надеюсь, вы вспомните эту фразу, – сказал тот, что с залысинами, – когда Народный трибунал¹⁴ приговорит вас, меня и ее...

– Тише! – сказал Младенец. – Идите потанцуйте немного. Танец вроде бы симпатичный. Заодно поговорите, и мы тут тоже посоветуемся...

Темноволосый молодой человек нехотя встал, легонько поклонился своей даме. Она нехотя положила руку ему на плечо, и оба, бледные, влились в поток, направлявшийся к танц-полу. Танцевали они серьезно, молча, ему казалось, он танцует с покойницей. Даже страшно стало. Мундиры вокруг, повязки со свастикой, на стенах кроваво-красные знамена с ненавистным знаком, украшенный зеленью портрет фюрера, ритмичные звуки свинга.

– Ты этого не сделаешь, Трудель, – сказал он. – Безумие – требовать такого. Обещай мне...

В немыслимой толкотне они почти не двигались с места. Наверно, оттого, что их постоянно задевали другие пары, наверно, по этой причине она молчала.

– Трудель! Обещай! Ты ведь можешь перейти на другую фабрику, работать там, подальше от них. Обещай мне...

Он пытался перехватить ее взгляд, но она упорно смотрела поверх его плеча.

– Ты лучшая из всех нас, – неожиданно сказал он. – Ты – человечность, а он – всего лишь догма. Ты должна жить, не уступай ему!

Девушка тряхнула головой, то ли в знак согласия, то ли нет.

– Давай вернемся, – сказала она. – Я больше не хочу танцевать.

– Трудель, – поспешно сказал Карл Хергезель, когда они выбрались из толпы танцующих, – твой Отто погиб только вчера, только вчера ты получила известие. Слишком рано пока. Но ты ведь и так знаешь, я всегда любил тебя. Никогда не ждал от тебя ничего, а теперь вот ожидаю, что ты по крайней мере будешь жить. Не ради меня, нет, просто будешь жить!

Она опять молча тряхнула головой, и опять было неясно, как она относится к его любви, к его желанию видеть ее живой. Меж тем они подошли к своему столику.

– Ну? – спросил Григоляйт, тот, что с залысинами. – Как потанцевали? Тесновато, верно? Девушка садиться не стала.

– Пойду я, – сказала она. – Ну, бывайте здоровы. С удовольствием бы с вами работала... Она отвернулась, пошла к выходу.

Однако толстый, безбидный Младенец первым догнал ее, схватил за запястье:

– Минуточку! – Голос звучал вежливо, но во взгляде читалась угроза.

Они вернулись к столику. Снова сели.

– Я правильно понимаю, Трудель, что означало твое прощание? – спросил Младенец.

– Да, совершенно правильно, – сказала девушка, твердо глядя на него.

– В таком случае, с твоего разрешения, я до конца вечера останусь с тобой.

В ужасе она сделала протестующий жест.

– Я не навязываюсь, – очень вежливо произнес он, – но пойми, при выполнении такого решения могут опять-таки возникнуть просчеты. – И угрожающе прошептал: – Мне вовсе ни

¹⁴ Народный трибунал – судебный орган, учрежденный в Германии в рамках Министерства юстиции на основании закона от 18 апреля 1938 г. в качестве чрезвычайного суда, занимался делами о государственной измене, шпионаже и политических преступлениях, совершенных германскими гражданами.

к чему, чтобы какой-нибудь болван снова выудил тебя из воды или чтобы ты, неудачно отравившись, завтра очутилась в больнице. Я хочу видеть все своими глазами.

– Правильно! – кивнул парень с залысинами. – Согласен. Тут только одна опасность...

– А я, – задумчиво сказал темноволосый, – сегодня, и завтра, и каждый день буду рядом с нею. И сделаю все, чтобы не допустить осуществления вашего замысла. Помощь приведу, если понадобится, даже полицию!

Парень с залысинами опять присвистнул, протяжно, тихо и злобно.

– Ага, стало быть, у нас второй болтун объявился, – сказал Младенец. – Влюблен, да? Так я и думал. Идем, Григоляйт, ячейка распалась. Нет ее больше. И это, по-вашему, дисциплина? Бабы вы, а не мужики!

– Нет-нет! – воскликнула девушка. – Не слушайте его! Он правда меня любит. Но я его не люблю. Сегодня вечером я пойду с вами...

– Отнюдь! – бросил Младенец, на сей раз действительно со злостью. – Неужели не видишь, что ничего уже не поделаешь, ведь он... – Он кивнул на темноволосого, потом решительно добавил: – Ладно! Все кончено! Пошли, Григоляйт!

Парень с залысинами уже встал. Оба направились к выходу. Как вдруг кто-то взял Младенца за плечо. И тот увидел перед собой гладкую, немного одутловатую физиономию человека в коричневом мундире.

– Минуточку! Вы только что упомянули про распавшуюся ячейку! Мне весьма любопытно...

Рывком высвободив руку, Младенец очень громко сказал:

– Оставьте меня в покое! Если вам любопытно, о чем мы говорили, спросите вон у той молодой дамы! Только вчера у нее погиб жених, а сегодня уже новый на крючке! Пропали они пропадом, эти бабы!

Он старался протиснуться к выходу, до которого Григоляйт уже добрался. И теперь тоже вышел на улицу. Секунду толстяк в коричневом мундире смотрел ему вслед. Потом повернулся к столику, где по-прежнему сидели темноволосый и девушка, без кровинки в лице. Это его успокоило: пожалуй, я все-таки не ошибся, позволив ему уйти. Он меня переиграл. Однако...

– Позвольте на минуточку присесть подле вас и задать несколько вопросов? – вежливо сказал он.

– Я могу только повторить все, что уже сказал тот господин, – ответила Трудель Бауман. – Вчера я получила известие о гибели моего жениха, а сегодня вот он сделал мне предложение.

Голос ее звучал твердо и решительно. Теперь, когда опасность сидела за столом, страх и тревога улетучились.

– Вы не назовете мне имя вашего погибшего жениха? И часть, где он служил?

Она назвала.

– А ваше имя? Адрес? Место работы? Возможно, у вас есть при себе какой-нибудь документ? Спасибо. Теперь вы, сударь.

– Я работаю на том же предприятии. Зовут меня Карл Хергезель. Вот моя трудовая книжка.

– А те двое?

– Мы их совсем не знаем. Они подсели за наш столик и неожиданно вмешались в нашу ссору.

– Из-за чего вы повздорили?

– Я ему отказала.

– Почему же ваш отказ так его возмутил?

– Откуда я знаю? Может, он не поверил моим словам. Вдобавок рассердился, что я не пошла с ним танцевать.

– Ну ладно! – Одутловатый захлопнул записную книжку, обвел обоих взглядом. Они и правда больше походили на поссорившихся влюбленных, чем на застигнутых с поличным преступников. Уже одно то, что они робеют, избегают смотреть друг на друга... А при этом их руки лежат на столе, едва не касаясь одна другой. – Ладно. Ваши показания, разумеется, будут проверены, но я думаю... Во всяком случае, желаю вам продолжить вечер удачнее...

– Для меня продолжения не будет! – воскликнула девушка. – Не будет! – Она встала, темноволосый парень тоже. – Я иду домой.

– Я тебя провожу.

– Нет, спасибо, я лучше одна.

– Трудель! – попросил он. – Пожалуйста! Давай еще немного поговорим!

Человек в коричневом мундире с улыбкой глядел то на одну, то на другого. И правда влюбленные. Скрупулезной проверки не понадобится.

А девушка внезапно решила:

– Хорошо, но только две минуты!

Они пошли к выходу. Наконец-то выбрались из этого жуткого зала, из этой атмосферы непримиримой злобы и ненависти. Глянули по сторонам.

– Их нет.

– Больше мы их не увидим.

– И ты можешь жить. Нет, *должна* жить, Трудель! Любым опрометчивым поступком ты навлечешь опасность на других, на многих других – никогда не забывай об этом, Трудель!

– Верно, теперь я должна жить. – И быстро, решительно она добавила: – Прощай, Карл!

На миг она прижалась к его груди, легонько коснулась губами его губ. Он и опомниться не успел, а она уже поспешила через улицу и вскочила в подъехавший трамвай. Вагон тронулся.

Он хотел было броситься вдогонку. Но спохватился.

Мы ведь будем видеться на фабрике, думал он. И впереди целая жизнь. У меня есть время. Вдобавок я теперь знаю, она любит меня.

Глава 14

Суббота. Тревога у Квангелей

В пятницу супруги Квангель тоже не разговаривали – три дня молчания, ни доброго утра, ни доброго дня друг другу не пожелали, за годы семейной жизни такого еще не бывало. При всей своей немногословности Отто Квангель обычно все же нет-нет да и ронял какую-нибудь фразу, насчет рабочих в цеху, или хоть насчет погоды, или что обед сегодня особенно вкусный. А тут ни словечка!

Чем дальше, тем отчетливее Анна Квангель ощущала, что от тревоги за мужа, который так внезапно переменялся, горе о погибшем сыне стало развеиваться. Ей хотелось думать об одном только сыне, но не получалось, всякий раз, когда она смотрела на мужа, вторгались мысли о нем, об Отто Квангеле, с которым она прожила столько лет и которому, что ни говори, отдала лучшие годы своей жизни. Что с ним произошло? Что стряслось? Что его так изменило?

К полудню пятницы Анна Квангель забыла весь свой гнев и все упреки. И будь хоть малейшая надежда на успех, попросила бы у него прощения за свое опрометчивое «ты и твой фюрер». Но было совершенно ясно, что Квангель уже не думает об этом упреке, да и о ней, кажется, тоже. Смотрит мимо, сквозь нее, стоит у окна, засунув руки в карманы рабочей куртки, и тихонько насвистывает, задумчиво, с большими паузами, что вообще-то не в его привычках.

О чем думает этот мужчина? Что так взволновало его душу? Она подала ему обед, он принялся за еду. Некоторое время она наблюдала за ним из кухни. Угловатое лицо склонилось над тарелкой, но ложку он подносил ко рту совершенно механически, темные глаза смотрели в пустоту.

Анна опять повернулась к плите, разогреть остатки капусты. Он любил тушеную капусту. Теперь она твердо решила заговорить с ним прямо сейчас, вот подаст капусту – и сразу заговорит. Как бы резко он ни ответил, она непременно должна нарушить это зловещее безмолвие.

Но когда она вошла в комнату с разогретой капустой, Отто уже и след простыл, недоеденная тарелка стояла на столе. Либо Квангель догадался о ее намерении и украдкой ушел, как ребенок, который заупрямился не на шутку и надолго, либо душевное беспокойство заставило его просто забыть о еде. Так или иначе, он ушел, и ей придется до ночи его ждать.

Однако в ночь с пятницы на субботу Отто Квангель вернулся с работы очень поздно, и, когда он лег в постель, Анна, несмотря на свои благие намерения, уже спала. Проснулась она лишь через некоторое время, от его кашля, и осторожно спросила:

– Отто, ты спишь?

Кашель смолк, он лежал совершенно тихо. И она спросила еще раз:

– Отто, ты спишь?

И опять ничего, ни звука в ответ. Так они лежали очень долго. Зная, что оба не спят. Шевельнуться не смели, чтобы себя не выдать. Но в конце концов уснули.

В субботу стало еще хуже. Отто Квангель встал непривычно рано. Анна даже суррогатный кофе подать не успела – муж опять поспешил на загадочную прогулку, каких раньше никогда не предпринимал. Потом вернулся, из кухни она слышала, как он расхаживает по комнате. Когда она принесла кофе, он аккуратно сложил большой белый лист, который изучал у окна, и спрятал его в карман.

Анна была уверена, это не газета. Слишком большие поля, да и шрифт крупнее. Что же такое он читал?

Она опять рассердилась на мужа, на его секретничанье, на все эти перемены в нем, прибавившие столько тревоги и новых забот, ей-то и старых хватало. Тем не менее она сказала:

– Кофе, Отто!

Услышав ее голос, он повернул голову, посмотрел на нее, точно удивляясь, что он не один в квартире, удивляясь, кто это к нему обращается. Посмотрел на нее, но как-то странно. Словно перед ним была не жена, не Анна Квангель, а кто-то, кого он знал когда-то давно и теперь с трудом вспоминал. Губы его улыбались, глаза тоже, улыбка растеклась по всему лицу, такого она тоже никогда за ним не замечала. И чуть не воскликнула: Отто, ах, Отто, неужели и ты оставишь меня, не уходи!

Но пока она собиралась с духом, он прошагал мимо нее к выходу. Снова без кофе, снова пришлось унести кофейник на кухню. Анна тихонько всхлипывала: ну что за человек! Неужели у нее ничего не останется? Потеряла сына, а теперь и мужа?

Квангель тем временем быстро шагнул в сторону Пренцлауэр-аллее. Ему вдруг пришло в голову, что лучше хорошенько осмотреть такой вот дом заранее, убедиться, что все вправду обстоит так, как он себе представляет. Не то придется придумывать что-нибудь другое.

На Пренцлауэр-аллее он замедлил шаг, внимательно приглядываясь к дверям подъездов, как бы что-то выискивая. На одном из угловых домов среди множества фирменных вывесок виднелись таблички двух адвокатов и врача.

Квангель толкнул дверь. Она тотчас открылась. Он не ошибся: консьержа в таком людном доме нет. Медленно, держась за перила, пошел вверх по ступенькам бывшей «парадной» лестницы с площадками, выложенными дубовым паркетом; впрочем, из-за многочисленных посетителей и войны от парадности не осталось и следа. Лестница была грязная и затоптанная, ковровые дорожки, понятно, давным-давно исчезли, вероятно, их убрали, когда началась война.

В бельэтаже Отто Квангель миновал первую адвокатскую табличку, кивнул, не спеша пошел дальше. Кстати, на лестнице он был не один, нет, мимо все время сновали люди, то навстречу, то обгоняя его. Он постоянно слышал звонки, хлопанье дверей, трезвон телефонов, перестук пишмашинок, голоса.

Но снова и снова случались минуты, когда на всей лестнице или хотя бы на ближайших лестничных маршах не оставалось ни души, кроме Отто Квангеля, когда все живое как бы втягивалось внутрь кабинетов. Самый подходящий момент! Он вообще оказался прав, именно так все себе и представлял. Спешащие люди, которым недосуг смотреть друг на друга, грязные окна, в которые кое-как проникал серый дневной свет, консьержа нет, и вообще никому ни до кого нет дела.

На втором этаже Отто Квангель читает табличку второго адвоката. Изображение руки с указующим перстом гласит, что врач живет этажом выше. Отто Квангель согласно кивает. После чего поворачивает обратно, вроде он как раз от адвоката, и выходит на улицу. Больше в доме смотреть нечего, он именно такой, как надо, и в Берлине подобных домов тысячи.

Сменный мастер Отто Квангель снова стоит на тротуаре. И тут к нему подходит темно-волосый молодой человек с очень бледным лицом.

– Господин Квангель, не так ли? – спрашивает он. – Господин Отто Квангель с Яблонскиштрассе, да?

Квангель бурчит выжидательное «Ну?», которое может означать как согласие, так и отрицание.

Молодой человек принимает его за согласие и продолжает:

– Трудель Бауман просила передать, чтобы вы о ней забыли. И ваша жена пусть больше ее не навещает. Совершенно незачем, господин Квангель, чтобы...

– Передайте ей, – говорит Отто Квангель, – что я никакой Трудель Бауман знать не знаю и в разговоры вступать не желаю...

Его кулак бьет молодого человека прямехонько в подбородок, парень падает, как тряпичная кукла. Квангель бесцеремонно расталкивает народ, который уже начинает сбегаться, минует полицейского, идет к остановке трамвая. Садится в вагон, проезжает две остановки.

Потом пересаживается и едет обратно, на сей раз на передней площадке прицепного вагона. Все, как он думал: народ в большинстве успел разойтись, десяток-полтора зевак еще стоят возле кафе, куда, наверно, отнесли пострадавшего.

Парень уже опаматовался. Второй раз за два дня Карл Хергезель вынужден предъявлять документы официальному лицу.

– В самом деле, ничего серьезного, господин унтер-офицер, – заверил он. – Вероятно, я ненароком наступил ему на ногу, и он с ходу врезал мне кулаком. Понятия не имею, кто это был, я даже извиниться не успел, а он сразу кулаком.

И опять Карлу Хергезелю позволяют безнаказанно уйти, ни в чем его не подозревают. Но он вполне отдает себе отчет, что впредь не может вот так испытывать собственное везение. Он и к этому Отто Квангелю пошел, только чтобы убедиться, в безопасности Трудель или нет. Ну, по крайней мере, Квангель этот угрозы не представляет. Жесткий тип, сущий ястреб, да еще и злющий. Но определенно не болтун, хотя пасть у него будь здоров. И лупит мгновенно и со злостью!

И из-за того, что такой человек, чего доброго, проболтается, Трудель едва до смерти не довели. Нет, этот болтать не станет – и им тоже словечка не скажет! А до Трудель ему дела нет, судя по всему, он о ней вообще знать не хочет. Н-да, этакий стремительный хук подчас много чего проясняет!

На фабрику Карл Хергезель идет уже с легким сердцем, а там, когда из осторожных расспросов товарищей выяснилось, что Григоляйт и Младенец скрылись, у него и вовсе гора с плеч свалилась. Теперь все в порядке. Ячейки больше нет, но об этом он даже не особенно и сожалеет. Зато Трудель будет жить!

В сущности, политическая работа никогда не вызывала у него большого интереса, в первую очередь его интересовала Трудель!

Квангель едет на трамвае домой, но на Яблонскиштрассе не выходит. Береженого бог бережет, если сзади хвост, лучше разобраться с ним один на один, а не тащить за собой в квартиру. Анна сейчас не в том состоянии, чтобы справиться с неприятным сюрпризом. Сперва надо с ней потолковать. Он, безусловно, так и сделает, ведь в его замысле Анне отведена важная роль. Но прежде необходимо сделать кое-что другое.

Квангель решил сегодня перед работой вообще домой не заходить. Обойдется разок без кофе и без обеда. Анна встревожится, но наверняка подождет и опрометчивых шагов не предпримет. Ему необходимо кое-что сделать именно сегодня. Завтра воскресенье, и все должно быть готово.

Он пересаживается на другой трамвай, едет в город. Нет, насчет молодого парня, которому он одним ударом заткнул рот, Квангель особо не беспокоится. Как и насчет преследователей, вообще-то он уверен, что парень действительно пришел от Трудель. Она ведь намекала, мол, придется признаться, что она нарушила клятву. После этого они, понятно, запретили ей с ним общаться, вот она и послала вместо себя этого парня. Все это никакой опасности не представляет. Сущее ребячество, вправду ведь ребятня, затеяли игру, в которой ничегошеньки не смыслят. Он, Отто Квангель, смыслит чуток побольше. Знает, на что идет. Но играть он будет не по-детски, каждый ход обдумает.

Он снова видит перед собой Трудель, в том коридоре, на сквозняке, прислонившуюся к плакату Народного трибунала – простодушно, ни о чем не подозревая. Снова его охватывает беспокойство, как в ту минуту, когда над головой девушки красовалась надпись «Именем немецкого народа», снова он вместо незнакомых имен читает свое собственное – нет-нет, это дело для него одного. И для Анны, конечно же и для Анны. Он ей покажет, кто «его» фюрер!

Добравшись до центра, Квангель первым делом кое-что покупает. Пустяки – несколько почтовых открыток, ручка, несколько стальных перышек, бутылочка чернил. Но даже эти

покупки он делает в разных местах – в универсальном магазине, в филиале «Вулворта» и в канцелярской лавочке. А под конец, после долгих раздумий, покупает еще и пару простеньких, тонких хлопчатобумажных перчаток, причем не по карточкам.

Потом он заходит на Александерплац в один из больших пивных ресторанов, берет бокал пива и кое-что поест, опять-таки не по карточкам. На дворе 1940 год, началось разграбление покоренных народов, немецкий народ серьезных лишений не испытывает. Купить можно почти все, и даже не слишком дорого.

Что же до самой войны, то она идет в чужих краях, далеко от Берлина. Да, конечно, порой над городом уже появляются английские самолеты. Тогда местами падают бомбы, и на следующий день население совершает дальние прогулки, чтобы поглядеть на разрушения. Большинство потом посмеивается: «Если они думают порешить нас таким манером, им потребуется лет сто, да и тогда будет не очень-то заметно. А мы тем временем сотрем их города с лица земли!»

Вот что говорит народ, а с тех пор, как Франция запросила перемирия, число тех, кто так говорит, изрядно увеличилось. Большинство всегда с теми, за кем успех. Люди наподобие Отто Квангеля, в разгар успеха покидающего ряды, составляют исключение.

Он сидит в ресторане. Время еще есть, на фабрику пока рано. Однако тревога последних дней отпустила. С той минуты, как он осмотрел дом, с той минуты, как сделал эти мелкие покупки, все решено. Дальнейшие поступки обдумывать уже не нужно. Теперь все пойдет само собой, дорога ясна. Надо просто идти вперед: первые решающие шаги уже позади.

Пора на работу, он расплачивается и уходит из ресторана. Хотя путь от площади Александерплац неблизкий, он идет пешком. Нынче и без того потратился – на трамвай, на покупки, на еду. Достаточно? Более чем! Квангель хоть и решил теперь жить по-новому, однако менять давние привычки не намерен. Останется по-прежнему бережливым и людей будет держать на расстоянии.

И вот он снова стоит в цеху, сосредоточенный и бдительный, молчаливый и холодный, в точности как обычно. Ничем не выдавая, что произошло у него в душе. Какой-нибудь любитель перекуров вроде «столяра» Дольфуса нипочем не заметит. У таких людей представление о сменном мастере сложилось давно: старый болван, за грош удавится, только и думает что о работе. Вот пусть так и считают.

Глава 15

Энно Клуге снова выходит на работу

Отто Квангель еще только заступил на смену в столярном цеху, а Энно Клуге уже шесть часов стоял за токарным станком. Да, этот хлюпик не рискнул отлеживаться в постели и, несмотря на слабость и боль, поехал на фабрику. Встретили его там не слишком ласково, но иного он и не ждал.

– Что, Энно, никак опять надумал у нас погостить? – спросил мастер. – Надолго ли – на недельку или на две?

– Я совершенно здоров, мастер, – с жаром заверил Энно Клуге. – Опять могу работать и буду работать, вот увидишь!

– Ну-ну! – весьма недоверчиво буркнул мастер и пошел было прочь. Но вновь остановился, задумчиво взглянул Энно в лицо и полюбопытствовал: – Что у тебя с рожей-то, Энно? Отутюжили маленько, а?

Голова Энно опущена, он смотрит на деталь, а не на мастера:

– Точно, мастер, отутюжили...

Мастер в задумчивости стоит перед ним, продолжает сверлить взглядом. В конце концов, решив, что понял, в чем дело, говорит:

– Ну что ж, может, оно и впрямь на пользу пошло, может, тебе, Энно, и впрямь поработать охота!

Мастер ушел, а Энно Клуге обрадовался, что побои истолкованы именно так. Пускай думает, что досталось ему за уклонение от работы, тем лучше! Сам он об этом ни с кем говорить не намерен. А коли они все здесь так считают, то и с вопросами приставать тоже не станут. Разве что посмеются у него за спиной, и пускай, ему без разницы. Он намерен работать, да так, что они рты поразевают!

Со скромной улыбкой и все же не без гордости Энно Клуге записался на добровольную воскресную смену. Иные из коллег постарше, которые знали его по прежним временам, не удержались от колкостей. А Энно только посмеялся с ними вместе и с удовольствием отметил, что и мастер тоже усмехнулся.

Кстати, вывод мастера, будто Энно поколотили за тунеядство, сыграл ему на руку и в дирекции. Вызванный туда сразу после обеденного перерыва, Энно Клуге стоял точно обвиняемый, напугавшись еще больше оттого, что один из судей был в форме вермахта, другой – в мундире штурмовика¹⁵ и лишь третий – в штатском, правда тоже с каким-то значком.

Офицер вермахта полистал какие-то бумаги и равнодушным, но крайне пренебрежительным тоном перечислил Энно Клуге его прегрешения. Такого-то и такого-то числа направлен из вермахта в военную промышленность, явился на указанное предприятие лишь тогда-то и тогда-то, проработал одиннадцать дней, по причине желудочных кровотечений ушел на больничный, лечился у трех врачей и в двух медицинских учреждениях. Тогда-то и тогда-то выписан на работу, проработал пять дней, три дня прогулял, один день проработал, снова желудочное кровотечение и т. д., и т. д.

Офицер вермахта отложил бумагу, с отвращением посмотрел на Клуге, точнее, устремил взгляд на верхнюю пуговицу его пиджака и, повысив голос, сказал:

– О чем ты, собственно, думаешь, свинья ты этакая? – Он вдруг заорал, но было заметно, что орет он по привычке, без малейшего внутреннего волнения: – Никто здесь не поверит в

¹⁵ Штурмовики – участники штурмовых отрядов (СА), полувоенных организаций НСДАП; носили коричневую форму.

твои идиотские желудочные кровотечения, не на тех напал! Я тебя в штрафную роту закатаю, там тебе мигом все кишки повыпустят, живо поймешь, что такое желудочные кровотечения!

Офицер орал еще довольно долго. Энно, еще с армии привыкший к ору, особо не испугался. Слушал нагоняй как положено, держа руки по швам штатских брюк, неотрывно глядя на ругателя. Когда офицер поневоле делал паузу, чтобы перевести дух, Энно надлежащим тоном, четко и ясно, однако не смиренно и не нагло, вставлял:

– Так точно, господин обер-лейтенант! Слушаюсь, господин обер-лейтенант! – Однажды он даже умудрился, правда, без заметного результата, вернуть фразу: – Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я здоров! Осмелюсь доложить, буду работать!

Так же внезапно, как заорал, офицер умолк. Закрыв рот, отвел взгляд от верхней пиджачной пуговицы Клуге, посмотрел на своего соседа в коричневом мундире, недовольно спросил:

– Желаете добавить?

Разумеется, этот господин тоже имел что сказать, вернее, проорать – похоже, все здешние начальники объяснялись с подчиненными только криком. Этот кричал об измене народу и саботаже, о фюрере, который не терпит предателей, и о концлагерях, где он, Клуге, получит по заслугам.

– А в каком виде ты явился сюда? – неожиданно гаркнул коричневый. – Где тебя так отделали, мерзавец? С такой харей на работу явился! По бабам шлялся, потаскун? Вон где здоровье разбазариваешь, а мы тебе плати! Где ты был, где тебя этак угораздило, ходок хренов, а?

– Отутюжили меня, – пробормотал Энно, съжившись от страха под взглядом допросчика.

– Кто, кто тебя отутюжил, говори! – рявкнул коричневорубашечник, размахивая перед носом у Энно кулаком и топая ногами.

И в этот миг все мысли вылетели у Энно Клуге из головы. Напрочь забыв о своих намерениях и об осторожности под угрозой новых побоев, он испуганно прошептал:

– Осмелюсь доложить, эсэсовцы отутюжили.

Страх бедолаги был настолько неподдельным, что троица за столом тотчас ему поверила. На лицах у них проступила сочувственная, одобрительная усмешка.

– Отутюжили, говоришь?! – вскричал коричневый. – Проучили, вот как это называется, наказали по заслугам! Повтори!

– Осмелюсь доложить, наказали по заслугам!

– Что ж, надеюсь, ты это запомнишь. В другой раз так легко не отвертись! Ступай!

Еще и полчаса спустя Энно Клуге так дрожал, что не мог работать на станке и затаился в уборной, где мастер в конце концов отыскал его и с бранью погнал в цех. А потом стал рядом и, не переставая браниться, наблюдал, как Энно Клуге запарывает одну деталь за другой. В голове у бедного хлюпика все слилось: ругань мастера, насмешки товарищей, угроза концлагеря и штрафной роты, – он толком ничего не соображал. Обычно ловкие руки не слушались. Работать он не мог, а надо было, иначе вообще каюк.

В конце концов даже мастер уразумел, что дело тут не в лени и не в злом умысле.

– Кабы ты вот только что не сидел на больничном, я бы отправил тебя домой на пару деньков, отлежаться. – И добавил, уходя: – Но ты ведь знаешь, что тогда будет!

Да, еще бы не знать. Энно продолжал работать, старался не думать о боли, о невыносимой тяжести в голове. Некоторое время его магически притягивал блеск вращающегося резца. Достаточно сунуть туда пальцы – и покой обеспечен, можно полежать в постели, отдохнуть, поспать, забыть! Но он тотчас же подумал, что того, кто умышленно себя калечит, ждет смертный приговор, и рука отдернулась...

То-то и оно: смерть в штрафной роте, смерть в концлагере, смерть в тюремном дворе – каждый день грозил ему гибелью, а ее необходимо избежать. Но сил у него так мало...

Смена худо-бедно подошла к концу, и вскоре после пяти Энно тоже влился в поток идущих домой. Весь день он мечтал о покое и сне, но, очутившись в тесной гостиничной каморке, не смог заставить себя лечь. Снова вышел на улицу, купил немного поесть.

А когда вернулся в номер, выложил на стол еду и стал возле кровати, все равно не смог там находиться. Что-то не давало ему покоя, не позволяло остаться в каморке. Надо купить кой-какие умывальные принадлежности да заглянуть к старьевщику, не найдется ли у того синей рабочей блузы.

Энно Клуге опять вышел на улицу и уже в аптекарском магазине вдруг вспомнил, что в квартире у Лотты, откуда его бесцеремонно выпырынул приехавший в отпуск муж, остался весьма увесистый чемоданчик с пожитками. Он выбежал из аптеки, сел на трамвай, рискнул – поехал прямо к ней. Не бросать же все свои вещи! Боязно, конечно, получить еще порцию побоев, но что-то толкало его вперед, к Лотте.

И ему повезло, Лотта была дома, муж как раз куда-то ушел.

– Твои вещи, Энно? – спросила она. – Я сразу снесла их в подвал, чтоб он не нашел. Погоди, принесу ключ!

Но он не выпустил ее из объятий, уткнулся головой в крепкую грудь. Напряжение последних недель оказалось ему не по силам, он попросту разрыдался:

– Ах, Лотта, Лотта, без тебя я просто не выдержу! Я так по тебе тоскую!

Все его тело сотрясалось от рыданий. Лотта не на шутку оробела. Мужчин она навидалась, в том числе и слезливых, но они рыдали спьяну, а этот трезвый... Вдобавок говорит-то как – он по ней тоскует и не выдержит без нее, давненько она не слыхала таких слов! Если слыхала вообще!

Она утешала его как могла:

– Отпуск у него всего на три недели, потом можешь опять ко мне переехать, Энно! Возьми себя в руки, заberi свои вещи, пока он не явился. Ты же знаешь!

О, ему ли не знать! Он прекрасно знает, сколько вокруг опасностей!

Лотта проводила его до трамвайной остановки, помогла донести чемодан.

Энно Клуге поехал в гостиницу, на душе немножко полегчало. Всего лишь три недели, из которых четыре дня уже миновали. Тогда муж снова уедет на фронт, и можно занять его место в постели! Энно рассчитывал вообще обойтись без женщин, но не выходило, не мог он без них. До тех пор он еще разок поищет Тутти; ведь ясно теперь: если маленько поплакаться, злость у них как рукой снимает. Сразу готовы помочь! Хорошо бы пожить эти три недели у Тутти, в одинокой гостиничной каморке он не выдержит!

Но, несмотря на баб, он будет работать, работать, работать! Никаких фокусов, ни в коем случае! Он исправился!

Глава 16

Гибель госпожи Розенталь

Воскресным утром госпожа Розенталь с испуганным криком пробудилась от глубокого сна. Ей снова привиделся кошмар из тех, что пугали ее теперь почти каждую ночь: они с Зигфридом спасались бегством. Спрятались, преследователи прошли мимо, искоса, словно бы насмешливо глянув на них, так плохо спрятавшихся.

Зигфрид вдруг побежал, она бросилась за ним. Но не могла бежать так быстро, как он. Крикнула: «Не так быстро, Зигфрид! Я не поспеваю! Не оставляй меня одну!»

Он оторвался от земли, полетел. Сперва совсем низко над мостовой, потом все выше, исчез над крышами. Она стояла одна на Грайфсвальдерштрассе. Из глаз катились слезы. Большая, вонючая ладонь закрыла ей лицо, не давая дышать, чей-то голос прошептал в ухо: «Старая жидовка, никак я наконец тебя поймал?»

Она не сводила глаз с окна, с маскировочной шторы – в щелки сочился дневной свет. Ночные кошмары уступили место кошмарам предстоящего дня. Снова день! Снова она проспала советника, единственного человека, с которым могла поговорить! Твердо решила не спать и все равно уснула! Снова целый день одиночества, двенадцать часов, пятнадцать! О, это выше ее сил! Стены комнаты наваливаются на нее, вот-вот раздавят, видеть в зеркале все то же бледное лицо, снова и снова пересчитывать все те же деньги – нет, больше так нельзя! Самое страшное и то лучше этого праздного сидения взаперти.

Розентальша торопливо одевается. Подходит к двери, поворачивает задвижку, тихонько открывает, выглядывает в переднюю. В квартире тишина, в доме тоже пока тишина. Детского гомона на улице пока не слышно – наверно, еще очень рано. Может быть, советник еще у себя в библиотеке? Может быть, она успеет сказать ему «доброе утро», обменяться двумя-тремя фразами, которые придадут ей сил, чтобы выдержать бесконечный день?

Она решается, решается вопреки запрету. Быстро пересекает переднюю, входит в его комнату. Немного пугается света, льющегося в открытые окна, уличного многолюдия и шума, заполнившего комнату вместе с воздухом города. Но куда больше ее пугает женщина со щеткой, чистящая цвиккауский ковер. Женщина худая, средних лет; платок на голове и щетка свидетельствуют, что это уборщица.

При появлении Розентальши она прерывает работу. Секунду смотрит на неожиданную гостью, несколько раз быстро зажмуривается, словно глазам своим не верит. Потом прислоняет щетку к столу, принимается возмущенно махать руками, а при этом время от времени восклицает «Кыш! Кыш!», будто прогоняя кур.

Госпожа Розенталь, уже отступая к двери, умоляюще произносит:

– Где же советник? Мне надо с ним поговорить!

Женщина плотно сжимает губы и отчаянно мотает головой. Потом вновь машет руками и шипит «Кыш! Кыш!», пока Розентальша не ретируется к себе в комнату. Уборщица тихонько закрывает дверь, а она опускается в кресло у стола и растерянно плачет. Все напрасно! Снова день, обрекающий ее на одинокое, бессмысленное ожидание! В мире столько всего происходит, может, именно сейчас умирает Зигфрид или немецкая авиабомба убивает ее дочку Эву, а она поневоле сидит здесь в потемках сложа руки.

Она с досадой трясет головой: больше так нельзя. Нельзя! Если уж ей суждено мыкать горе, если суждено быть гонимой и жить в вечном страхе, то она поступит по-своему. Пусть даже эта дверь закроется за ней навсегда, ничего не поделаешь. Гостеприимство ей оказали из добрых побуждений, но ничего хорошего оно ей не принесло.

Вновь она стоит у двери, но спохватывается. Вновь подходит к столу, берет толстый золотой браслет с сапфирами. Может быть, так...

Однако той женщины в кабинете уже нет, окна закрыты. Розентальша нерешительно стоит в передней, неподалеку от входной двери. Потом слышит звон тарелок, идет на этот звук и находит прислугу на кухне, где та моет посуду.

Она с мольбой протягивает браслет и запинаясь говорит:

– Мне правда необходимо поговорить с советником. Пожалуйста, очень вас прошу!

Прислуга хмурится: ну вот, сызнова мешать явилась. На браслет она бросает лишь беглый взгляд. И опять начинает махать руками и шикать, а Розентальша опять отступает к себе в комнату, прямо-таки опрометью бежит к ночному столику, достает из ящика назначенное советником снотворное.

Она вытряхивает на ладонь все таблетки, штук двенадцать или четырнадцать, идет к умывальнику, глотает их, запив стаканом воды. Сегодня она должна спать, весь день проспит... А вечером поговорит с советником и услышит, что надо делать. Не раздеваясь, она ложится на кровать, лишь слегка прикрывшись одеялом. Тихо лежит на спине, устремив взгляд в потолок, ждет сна.

И он словно бы вправду приходит. Тают мучительные мысли, вечные кошмарные образы, рожденные гнездящимся в мозгу страхом. Она закрывает глаза, тело обмякает, она уже почти во сне...

И вдруг, уже на самом пороге сна, ее опять словно вытолкнуло оттуда. С такой силой, что она аж подскочила. Тело дернулось, как от внезапной судороги.

Снова она лежит на спине, неотрывно глядя в потолок, все та же вечная мельница крутит в голове все те же мучительные мысли и образы страха. Затем – мало-помалу – кружение стихает, глаза закрываются, близок сон. И снова на его пороге – толчок, встряска, судорога сводит все тело. Снова ее изгнали из покоя, умиротворения, забвения...

Так повторяется три или четыре раза, и она сдается, перестает ждать сон. Встает, медленно, чуть пошатываясь, опустив руки, идет к столу, садится. Глядит прямо перед собой. В том белом, что лежит перед нею, узнает письмо Зигфриду, начатое три дня назад, несколько первых строчек. Продолжает смотреть, узнает купюры, драгоценности. Вон там, чуть дальше, поднос с едой для нее. Обычно по утрам она, вконец изголодавшись, накидывалась на завтрак, сейчас ее взгляд равнодушен. Есть не хочется...

Сидя вот так, она смутно осознает, что таблетки все же кое-что изменили – не смогли подарить ей сон, но тем не менее рассеяли бешеную утреннюю тревогу. Она просто сидит, иногда прямо в кресле впадает в дремоту и, вздрогнув, опять просыпается. Так проходит некоторое время, много или мало, она не знает, но некоторое время кошмарного дня, наверно, все же прошло...

Позднее она слышит шаги на лестнице. Снова вздрагивает – секунду анализирует свои ощущения, пытается понять, можно ли вообще услышать из этой комнаты, что по лестнице кто-то идет. Но в следующую секунду здравый смысл отступает, и она лишь напряженно прислушивается к шагам на лестнице, шагам человека, который с трудом тащится вверх по ступенькам, то и дело останавливается, а потом, кашлянув, идет дальше, опираясь на перила.

Теперь она не только слышит, но и видит. Совершенно отчетливо видит Зигфрида, как он тихонько крадется по безлюдной пока лестнице наверх, в их квартиру. Конечно же они опять его избили, голова кое-как замотана бинтами, успевшими промокнуть от крови, и лицо у него в ссадинах и синяках от их кулаков. Вот Зигфрид с трудом тащится вверх по лестнице. Дышит с хрипом и свистом, они пинками отбили ему легкие. Она видит, как Зигфрид исчезает за поворотом лестницы...

Еще некоторое время она сидит в кресле. Не думая ни о чем определенном, в том числе о советнике и об их уговоре. Ей необходимо наверх – что подумает Зигфрид, войдя в пустую квартиру? Но она ужасно устала, нет сил подняться!

И все-таки она встает. Достает из сумки связку ключей, хватает сапфировый браслет, будто талисман, который ее защитит, – и медленно, пошатываясь, выходит из квартиры. Дверь за нею захлопывается.

Советник, которого прислуга после долгих колебаний все-таки разбудила, появляется слишком поздно и не успевает удержать гостью от вылазки в чересчур опасный мир.

Бесшумно открыв дверь, советник секунду стоит на пороге, прислушивается. Ни наверху, ни внизу ни звука. Затем, все же кое-что услышав, а именно быстрый, энергичный топот сапог, он отступает к себе в квартиру. Но остается возле двери. Если найдется хоть малейшая возможность спасти эту несчастную, он, несмотря на все опасности, снова откроет ей свою дверь.

Одержимая одной мыслью – как можно скорее добраться до квартиры, до Зигфрида, – госпожа Розенталь даже не заметила, мимо кого прошла по лестнице. Но гитлерюгендфюрер Бальдур Персике, направляющийся на утреннюю поверку, ошеломленно замирает на ступеньках, разинув рот, когда эта женщина, едва не толкнув его, проходит мимо. Розенталиха, о которой уже несколько дней не было ни слуху ни духу, воскресным утром идет по лестнице, в темной вышитой блузке *без* еврейской звезды, в одной руке ключи и браслет, другой тяжело опирается на перила, – ну и напилась тетка! В воскресенье с утра пораньше уже вдрызг пьяная!

На секунду опешив, Бальдур стоит как вкопанный. Но когда госпожа Розенталь исчезает за поворотом лестницы, он приходит в себя и захлопывает рот. Чутье подсказывает ему, что момент настал, теперь главное – все сделать правильно! Нет, на сей раз надо действовать в одиночку, теперь ни братья, ни папаша, ни Баркхаузен ему свинью не подложат.

Бальдур ждет, потом, удостоверившись, что госпожа Розенталь уже добралась до квангелевского этажа, на цыпочках возвращается в свою квартиру. Там все еще спят, а телефон висит в передней. Он снимает трубку, набирает номер, затем называет добавочный. Удача: несмотря на воскресенье, его соединяют, и на проводе как раз тот, кто нужно. Он коротко докладывает, потом придвигает стул к двери, приоткрывает ее и готовится терпеливо караулить полчаса и даже час, чтобы птичка опять не упорхнула...

У Квангелей встала пока только Анна и тихонько хлопочет по дому. Временами заглядывает к Отто: тот по-прежнему крепко спит. Такой усталый и измученный, даже сейчас, во сне. Словно что-то не дает ему покоя. Она стоит, всматривается в лицо человека, бок о бок с которым прожила без малого три десятка лет. Конечно, она давно привыкла к этому лицу, к резкому птичьему профилю, к тонким, почти всегда сжатым губам – они ее больше не пугают. Просто мужчина, которому она целиком посвятила свою жизнь, выглядит так. Не во внешности дело...

Однако сегодня утром ей кажется, будто его лицо еще заострилось, губы стали еще уже, складки возле носа – еще глубже. Что-то его тревожит, какие-то тяжкие заботы, а она не сумела вовремя поговорить с ним, не сумела помочь ему нести этот груз. Сейчас, воскресным утром, через четыре дня после известия о гибели сына, Анна Квангель вновь твердо уверена, что должна, как прежде, оставаться рядом с мужем, более того, уверена, что вообще была не права, затеяв это упрямое противостояние. Ей ли не знать: Отто легче промолчать, чем сказать хоть слово. Приходилось постоянно его ободрять: не разговоришь его, так нипочем первым рта не откроет.

Ладно, сегодня Отто наконец заговорит. Согласился нынче ночью, когда пришел с работы. Вчерашний день у Анны прошел хуже некуда. Когда он убежал, не позавтракав, когда она долгие часы понапрасну его ждала, когда он и к обеду не появился, когда ей стало ясно, что началась его смена и он уж точно не придет, – ее одолело глубокое отчаяние.

Что с ним, что произошло, когда у нее сорвалась с языка эта опрометчивая фраза? Что не дает ему с тех пор покоя? Она ведь знает его: с тех пор он только и думал, как бы показать ей, что это не «его» фюрер. Будто она всерьез так считала! Надо было объяснить ему, мол, просто сорвалось с языка, в первую секунду, от горя и гнева. Она могла бы сказать про них

совсем по-другому, про этих преступников, которые так бессмысленно отняли у нее сына, – а вырвались, как нарочно, именно эти слова!

Но что тут поделаешь, сказанного не воротишь, и теперь он где-то мотается, подставляется под всевозможные опасности, чтобы доказать, что он прав и что она обошлась с ним несправедливо! Чего доброго, вообще домой не вернется. Вдруг сказал что или сделал, разозлил фабричное руководство или гестапо, – вдруг уже в кутузке сидит! Обычно-то он спокойный, а нынче спозаранку уже был сам не свой!

Анна Квангель не выдерживает, сил нет ждать его сложа руки. Она делает несколько бутербродов и отправляется на фабрику. Она и в этом верная его жена: даже сейчас, когда на счету каждая минута, когда хочется поскорее удостовериться, что все в порядке, – даже сейчас она идет пешком, на трамвай не садится. Да-да, идет пешком – бережет деньги, как и он.

От вахтера мебельной фабрики она узнает, что сменный мастер Квангель, как всегда, пришел на работу минута в минуту. С курьером она посылает ему «забытые» бутерброды и дожидается, когда тот вернется.

«Ну, что он сказал?»

«А должен был?.. Он же всегда молчит!»

Уфф, гора с плеч, теперь можно идти домой. Покамест ничего не случилось, несмотря на всю его утреннюю тревогу. А вечером она с ним потолкует...

Возвращается он ночью. По лицу видно, как он устал.

«Отто, – с мольбой говорит она, – я ведь ничего такого в виду не имела. Просто вырвалось в первую минуту, от испуга. Не сердись на меня!»

«Чтобы я на тебя сердился? Из-за такого? Да никогда!»

«Но ты что-то замышляешь, я чую! Не надо, Отто, не навлекай на себя беду из-за такого пустяка! Я ведь никогда себе не прощу».

Секунду он смотрит на нее почти с улыбкой. Потом быстро кладет руки ей на плечи. И тотчас отдергивает, словно стыдится этой поспешной нежности.

«Что я замышляю? Пойти спать! А завтра расскажу тебе, что мы с тобой будем делать!»

И вот настало утро, но Квангель еще спит. Впрочем, ни полчаса, ни час теперь значения не имеют. Он здесь, подле нее, и ничего опасного сделать не может: спит.

Анна отворачивается от его кровати и снова принимается за мелкие домашние хлопоты...

Между тем госпожа Розенталь, хоть и поднималась по лестнице очень медленно, уже давным-давно добралась до своей квартиры. Ее не удивляет, что дверь заперта, – она просто отпирает замок. А войдя, вовсе не начинает поиски Зигфрида, не зовет его. На жуткий хаос тоже внимания не обращает, да и забыла уже, что пришла в квартиру, следуя за шагами мужа.

Сознание медленно, неотвратимо мутнеет. Она не то чтобы спит, но и не бодрствует. Отяжелевшее тело двигается мешкотно, неуклюже, словно занемев, и мозг тоже как бы занемел. В голове возникают какие-то разрозненные образы и, прежде чем она успевает их разглядеть, вновь исчезают. Она сидит в уголке дивана, поставив ноги на перепачканное белье, медленно, вяло оглядывается по сторонам. В руке у нее по-прежнему ключи и сапфировый браслет, подарок Зигфрида на рождение Эвы. Выручка за целую неделю... Она едва заметно улыбается.

Потом она слышит, как входная дверь тихонько открывается, и знает: это Зигфрид. Пришел. Вот зачем я сюда поднялась. Надо его встретить.

Но она остается на диване, по серому лицу растекается улыбка. Она встретит его в комнате, сидя, словно никуда и не уходила, все время сидела здесь, ждала его.

Дверь наконец распахивается, и вместо долгожданного Зигфрида на пороге стоят трое мужчин. Увидев на одном из троих ненавистный коричневый мундир, она тотчас понимает: это

не Зигфрид, Зигфрида здесь нет. Внутри норовит шевельнуться страх, правда совсем чуточку. Ну вот время и пришло!

Улыбка медленно сползает с ее лица, которое от ужаса становится изжелта-зеленым.

Троица стоит теперь прямо перед нею. Она слышит, как корпулентный здоровяк в черном пальто говорит:

– Она не пьяная, мальчик мой. Вероятно, отравилась снотворным. Надо быстренько выжать из нее все, что можно. Послушайте, вы – госпожа Розенталь?

Она кивает:

– Да, господа, Лора или, вернее, Сара Розенталь. Муж мой сидит в Моабите, двое сыновей в США, одна дочка в Дании, одна замужем в Англии...

– И сколько денег вы им отправили? – быстро спросил комиссар уголовной полиции Руш.

– Денег? На что им деньги? У них у всех денег хватает! Зачем мне слать им деньги?

Она опять серьезно кивает. Все ее дети хорошо обеспечены. Могли бы без труда и родителей прокормить. Внезапно ей вспоминается кое-что, о чем нужно обязательно сказать этим господам.

– Это я виновата, – неловко произносит она неповоротливым языком, говорить все труднее, язык заплетается, – одна только я. Зигфрид давно хотел уехать из Германии. Но я сказала ему: «Зачем оставлять все эти красивые вещи, успешное дело, продавать за бесценок? Мы в жизни никого не обижали, и нас тоже не обидят». Я его уговорила, иначе бы мы давным-давно уехали!

– А куда вы девали свои деньги? – спросил комиссар, чуть нетерпеливее.

– Деньги? – Она пытается вспомнить. Ведь кое-какие деньги и вправду были. Только вот куда подевались? Сосредоточенные размышления отнимают массу сил, зато она вспоминает о другом. Протягивает комиссару сапфировый браслет. – Вот, возьмите!

Комиссар Руш бросает беглый взгляд на браслет, потом оборачивается на своих спутников, на бравого гитлерюгендовца и на постоянного напарника, Фридриха, толстяка, похожего на подручного палача. Оба глаз с него не сводят. И он, нетерпеливо оттолкнув руку с браслетом, хватая отяжелевшую женщину за плечи, с силой встряхивает.

– Проснитесь наконец, госпожа Розенталь! – кричит он. – Я вам приказываю! Проснитесь!

Затем он отпускает ее: голова откидывается на спинку дивана, тело обмякает, губы что-то невнятно бормочут. Так ее, как видно, не разбудишь. Некоторое время все трое молча глядят на старую женщину, которая, поникнув, сидит на диване: сознание к ней, судя по всему, возвращаться не желает.

Неожиданно комиссар едва слышно шепчет:

– Тащи ее на кухню, что хочешь делай, но разбуди!

Палач Фридрих молча кивает. Подхватывает тяжелую Розенталь на руки, как ребенка, и, осторожно перешагивая через препятствия на полу, уходит на кухню.

Он уже в дверях, когда комиссар кричит ему вслед:

– И смотри, чтоб по-тихому! Шум в многоквартирном доме, да еще в воскресенье, мне совершенно без надобности! В противном случае займемся ею на Принц-Альбрехтштрассе¹⁶. Я все равно заберу ее туда.

Дверь за ними закрывается, комиссар и гитлерюгендовский фюрер остаются одни.

Комиссар Руш стоит у окна, глядит на улицу.

– Тихая улица, – говорит он. – Ребятишкам есть где порезвиться, а?

Бальдур Персике подтверждает, что Яблонскиштрассе улица тихая.

¹⁶ На Принц-Альбрехтштрассе располагалось Центральное управление гестапо.

Комиссар слегка нервничает, но не из-за того, что Фридрих вытворяет на кухне со старой жидовкой. Вот еще, подобные методы и даже что похлеще ему вполне по душе. Потерпев фиаско как юрист, Руш пошел работать в уголовную полицию. А оттуда его перевели в гестапо. Службу свою он любит. И охотно служил бы любому правительству, однако лихие методы нынешнего ему особенно нравятся. «Главное – никаких сантиментов, – говорит он новичкам. – Долг можно считать исполненным, только когда достигнута цель. Каким путем – безразлично».

Нет, о старой жидовке комиссар вообще не думает, сантименты ему действительно чужды.

Но этот юнец, гитлерюгендфюрер Персике, здесь ни к чему. В таких обстоятельствах предпочтительно обойтись без посторонних, неизвестно ведь, как они все воспримут. Впрочем, этот вроде бы наш человек, хотя в точности все выясняется лишь позднее.

– Вы видели, господин комиссар, – с жаром начинает Бальдур Персике, сейчас он попросту не желает прислушиваться к происходящему на кухне, это их дело, – вы видели, она без еврейской звезды!

– Я видел куда больше, – задумчиво отвечает комиссар, – например, что обувь у нее чистая, а погода на улице канальская.

– Да-а, – кивает Бальдур Персике, не понимая пока, куда тот клонит.

– Значит, кто-то здесь, в доме, прятал ее начиная со среды, если в квартире ее действительно не было так долго, как вы говорите.

– Я почти уверен... – Бальдур Персике несколько теряется под этим сверлящим задумчивым взглядом.

– Почти уверен – не в счет, мальчик мой, – презрительно бросает комиссар. – Так не бывает!

– Я совершенно уверен! – тут же исправляется Бальдур. – Могу поклясться, госпожа Розенталь не бывала в своей квартире со среды!

– Ну-ну, – небрежно роняет комиссар. – Вы, конечно, понимаете, что со среды вы в одиночку держать ее квартиру под постоянным наблюдением никак не могли. Этого ни один судья не примет.

– У меня два брата в СС, – с жаром сообщает Бальдур Персике.

– Ладно, – успокаивает комиссар Руш, – разберемся. Кстати, я вот еще что хотел сказать: обыск я смогу провести только вечером. Может, вы пока присмотрите за квартирой? Ключи-то у вас есть, верно?

Бальдур Персике удовлетворенно заверяет, что охотно присмотрит. В его глазах читается глубокая радость. Ну вот, получилось, он так и знал, причем совершенно легально!

– Хорошо бы, – скучающим тоном говорит комиссар и снова глядит в окно, – к тому времени все лежало примерно так же, как сейчас. Конечно, за содержимое шкафов и чемоданов вы отвечать не можете, но в остальном...

Бальдур не успевает ответить, из глубины квартиры раздается пронзительный вопль ужаса.

– Черт побери! – бормочет комиссар, но с места не двигается.

Бальдур смотрит на него, бледный, даже нос от испуга заострился и ноги стали как ватные.

Вопль мгновенно обрывается, слышна только брань Фридриха.

– Так что я хотел сказать... – снова медленно начинает комиссар.

Однако не продолжает, а прислушивается. Внезапно из кухни доносится оглушительная ругань, топот, суета.

– Сейчас ты у меня заговоришь! Ох заговоришь! – рывкает Фридрих.

Новый вопль. Еще более грязная ругань. Распахивается дверь, топот в передней, и Фридрих рычит в комнату:

– Ну что тут скажешь, господин комиссар?! Только я довел старую чертовку до кондиции, чтоб могла говорить, а она возьми да и сигани в окошко!

Комиссар в ярости угощает его кулаком по физиономии:

– Провались ты, болван окаянный, я тебе все кишки выпущу! Живо за мной!

И он выбегает из квартиры, мчится вниз по лестнице...

– Так во двор же! – оправдывается Фридрих, устремляясь следом. – Она во двор свалилась, не на улицу! Все будет шито-крыто, господин комиссар!

Ответа нет. Троица бежит вниз по лестнице, причем старается особо не нарушать покой по-воскресному тихого дома. Последним, отстав на полмарша, бежит Бальдур Персике. Он не забыл хорошенько закрыть дверь розенталевской квартиры. И хотя еще не оправился от испуга, прекрасно помнит, что отвечает теперь за все превосходные тамошние вещи. Главное, чтобы ничего не пропало!

Они пробегают мимо квартиры Квангелей, мимо квартиры Персике, мимо квартиры отставного советника апелляционного суда Фромма. Еще два марша – и они во дворе.

Тем временем Отто Квангель встал, умылся и, сидя на кухне, смотрел, как жена готовит завтрак. После завтрака у них состоится важный разговор, а пока что они только пожелали друг другу доброго утра, и вполне приветливо.

Внезапно оба испуганно вздрагивают. На кухне выше этажом слышны крики, они прислушиваются, напряженно и озабоченно глядя друг на друга. Затем кухонное окно на секунду потемнело, словно мимо пролетело что-то тяжелое, – и тотчас со двора донесся глухой удар. Внизу кто-то вскрикнул – мужчина. И мертвая тишина.

Отто Квангель распахивает кухонное окно, но отшатывается, услышав топот на лестнице.

– Выглянь-ка быстренько наружу, Анна! – говорит он. – Может, что увидишь. Женщина обычно привлекает меньше внимания. – Он крепко, очень крепко сжимает ее плечо, приказывает: – Не кричи! Ни в коем случае не кричи! Все, закрывай окно!

– Господи, Отто! – ахает госпожа Квангель, бледная как полотно, и смотрит на мужа. – Розентальша выпала из окна. Лежит там, во дворе. А рядом Баркхаузен и...

– Тсс! – шикает Квангель. – Молчи! Мы ничего не знаем. Ничего не видели, ничего не слышали. Неси кофе в комнату!

В комнате он настойчиво повторяет:

– Мы ничего не знаем, Анна. Розентальшу, считай, никогда почти не видали. А теперь ешь! Ешь, говорю! И пей кофе! Если кто явится, он не должен ничего заметить!

Советник Фромм так и стоял на своем наблюдательном посту. Видел, как двое штатских поднялись по лестнице, а сейчас трое – в том числе младший Персике – промчались вниз по лестнице. Значит, что-то стряслось, и действительно, прислуга вышла из кухни с известием, что госпожа Розенталь только что выпала из своего окна во двор. Советник испуганно воззрился на нее.

Секунду он стоял совершенно не шевелясь. Потом медленно кивнул головой, несколько раз.

– Н-да, Лиза. Так тоже бывает. Одного желания спасти мало. Тот, кого хочешь спасти, должен по-настоящему согласиться на спасение. – И быстро спросил: – Кухонное окно закрыто?

Лиза кивнула.

– Живо, Лиза, приведи комнату барышни в порядок; никто не должен заметить, что ею пользовались. Убери посуду! Смени белье!

Лиза опять кивнула. Потом спросила:

– А деньги и драгоценности на столике, господин советник?

На миг он чуть ли не растерялся, на лице застыла жалкая, беспомощная улыбка.

– Н-да, Лиза, – произнес он немного погодя. – С этим будет трудновато. Наследники вряд ли о себе заявят. А для нас это лишняя головная боль...

– Брошу в мусорное ведро, – предложила Лиза.

Советник покачал головой:

– С ними мусорное ведро не пройдет, Лиза. Копаться в мусоре они как раз умеют! Ладно, я подумаю, как поступить с этими вещами. Ты быстренько займись комнатой! Эти могут явиться сюда в любую минуту!

Пока что эти стояли во дворе, вместе с Баркхаузенем.

Баркхаузен напугался первым и сильнее всех. Он с раннего утра слонялся по двору, терзаясь ненавистью к Персике и неутоленным вожделением к уплывшему из рук добру. Хотел по крайней мере выяснить, что и как, а потому пристально следил за лестничной клеткой, за окнами...

Внезапно что-то рухнуло совсем рядом, с большой высоты и так близко, что даже задело его. Похолодев от ужаса, Баркхаузен привалился к стене, а секунду спустя сполз на землю, потому что в глазах почернело.

В следующий миг он опять вскочил на ноги – вдруг заметил, что сидит на земле возле госпожи Розенталь. Господи, выходит, старушенция выбросилась из окна, и ему известно, по чьей вине.

Баркхаузен сразу понял, что она мертва. Из рта вытекла струйка крови, но лицо не исказилось. На нем запечатлелось такое глубокое умиротворение, что жалкий стукач поневоле отвел глаза. Тут его взгляд и упал на ее руки, и он увидел, что в одной у нее зажато украшение со сверкающими камнями.

Баркхаузен опасливо огляделся по сторонам. Если уж действовать, то быстро. Он наклонился и, отвернувшись, чтобы не видеть лица покойницы, вытащил у нее из ладони сапфировый браслет и спрятал в карман брюк. Еще раз с подозрением огляделся. Ему показалось, что у Квангелей осторожно закрыли кухонное окно.

А во двор между тем выбежали эти, трое мужчин, и насчет двух незнакомцев он сразу смекнул, кто они такие. Теперь главное – с самого начала вести себя правильно.

– Госпожа Розенталь только что выпала из окна, господин комиссар, – сказал он, словно докладывая о совершенно будничном происшествии. – Почти что мне на голову.

– Откуда вы меня знаете? – вскользь спросил комиссар, вместе с Фридрихом наклоняясь над покойницей.

– Я вас не знаю, господин комиссар, – отвечал Баркхаузен. – Просто так подумал. Поскольку иной раз работаю на господина комиссара Эшериха.

– Вот как! – коротко бросил комиссар. – Ладно. Тогда побудьте-ка здесь еще немного. Вы, молодой человек, – обернулся он к Персике, – присмотрите пока, чтобы этот типчик никуда не смылся. Фридрих, позаботься, чтобы во двор никто не заходил. Скажи шоферу, пусть последит за подворотней. А я поднимусь к вам в квартиру, надо позвонить!

Когда комиссар Руш, позвонив по телефону, вернулся во двор, ситуация там несколько изменилась. В окнах флигеля виднелись лица жильцов, несколько человек вышли во двор, но держались поодаль. Труп уже накрыли простыней, коротковатой, только до колен госпожи Розенталь.

Баркхаузен слегка пожелтел лицом, на запястьях у него были наручники. Жена и пятеро детей, стоя поодаль во дворе, молча наблюдали за ним.

– Господин комиссар, я протестую! – жалобно хныкал Баркхаузен. – Я правда не бросал браслет в подвал. Молодой господин Персике зол на меня...

Как выяснилось, Фридрих, выполнив задание, немедленно принялся искать браслет. Ведь на кухне Розенталь еще держала его в руке – как раз из-за этого браслета, который она упорно

не отдавала, Фридрих и остервенел. А в сердцах потерял обычную бдительность, ну и старуха сумела подложить ему свинью, сиганув из окна. Стало быть, браслет наверняка где-то здесь, во дворе.

Когда Фридрих взялся за поиски, Баркхаузен стоял возле стены. И Бальдур Персике вдруг заметил, как что-то блеснуло и тотчас же звякнуло в угольном подвале. Он немедленно слезил в подвал и обнаружил там браслет!

– Я его туда не бросал, господин комиссар! – испуганно твердил Баркхаузен. – Он, поди, отскочил туда из рук госпожи Розенталь!

– Ну-ну! – сказал комиссар Руш. – Вот, оказывается, что ты за птица! И такой гусь работает на комиссара Эшериха! То-то коллега обрадуется, когда узнает!

Комиссар разглагольствовал вполне миролюбиво, но взгляд его скользил от Баркхаузена к Персике, туда-сюда, туда-сюда. Затем Руш продолжил:

– Что ж, думаю, ты не против немножко с нами прогуляться, а?

– Само собой! – заверил Баркхаузен, он дрожал как осиновый лист и побледнел еще сильнее. – С удовольствием! Для меня главное, чтобы все до конца разъяснилось, господин комиссар!

– Вот и ладушки! – сухо бросил комиссар. Быстро глянул на Персике и добавил: – Фридрих, сними с него наручники. Он и без того пойдет с нами. Верно?

– Конечно-конечно! С удовольствием! – горячо заверил Баркхаузен. – Я не сбегу. Да если и сбегу, вы ж меня все равно найдете, господин комиссар!

– Что верно, то верно! – сухо кивнул тот. – Такого, как ты, мы везде разыщем! – Он осекся. – «Скорая помощь» приехала. И полиция. Давайте-ка побыстрее покончим с этим делом. У меня нынче утром и другой работы полно.

Позднее, когда они «покончили с этим делом», комиссар Руш и юный Персике еще раз поднялись в розенталевскую квартиру.

– Кухонное окно надо закрыть, только и всего! – сказал комиссар.

На лестнице юный Персике внезапно остановился.

– Вам ничего не бросилось в глаза, господин комиссар? – шепотом спросил он.

– Мне много чего бросилось в глаза, – отвечал комиссар Руш. – Но что бросилось, к примеру, в глаза тебе, мой мальчик?

– Разве не примечательно, как тихо в переднем доме? Вы обратили внимание, что в переднем доме никто на улицу не выглядывал, во флигеле-то народ все окна облепил! Подозрительно. Жилыцы из переднего дома наверняка ведь что-то заметили. Но не подают виду. Вы должны немедленно провести у них обыски, господин комиссар!

– И начал бы я с Персике, – ответил комиссар, продолжая спокойно подниматься по ступенькам. – У них тоже никто в окно не выглядывал.

Бальдур смущенно засмеялся.

– Мои братья, которые в СС, – пояснил он, – вчера вечером они в стельку напились...

– Сынок, – продолжал комиссар, будто и не слышал. – Я делаю свое дело, а ты – свое. И в твоих советах я не нуждаюсь. Соплив ты еще давать мне советы. – В душе посмеиваясь, он глянул через плечо в растерянное лицо парня и добавил: – Если я не устраиваю здесь обысков, мой мальчик, то лишь постольку, поскольку у них было полным-полно времени, чтобы уничтожитьотягчающие улики. Да и зачем поднимать такой шум из-за мертвой жидовки? Мне хватает забот с живыми.

Они уже добрались до розенталевской квартиры. Бальдур отпер дверь. Перво-наперво закрыть окно на кухне, поднять опрокинутый стул.

– Ну вот! – Комиссар Руш осмотрелся вокруг. – Все в ажуре!

Он прошел в комнату, сел на диван, на то самое место, где часом раньше довел старуху Розенталь до полной отключки. Довольно потянулся и сказал:

– Та-ак, сынок, а теперь принеси-ка бутылочку коньяку и два стакана!

Бальдур ушел, потом вернулся, разлил коньяк по стаканам. Они чокнулись.

– Отлично, мой мальчик, – благодушно похвалил комиссар, закуривая сигарету, – а теперь расскажи-ка, чем вы с Баркхаузенем раньше занимались в этой квартире! – И, заметив возмущенное движение юного Бальдура Персике, немедленно добавил: – Подумай хорошенько, сынок! В случае чего я и гитлерюгендфюрера заберу с собой на Принц-Альбрехтштрассе, ежели он будет слишком уж беззастенчиво морочить мне голову. Подумай хорошенько, может, лучше сказать правду. Глядишь, она останется между нами, смотря что ты расскажешь. – И, видя, что Бальдур колеблется: – Я ведь тоже кое-что заприметил, сделал, как мы говорим, кое-какие наблюдения. Например, заметил следы твоих башмаков вон там, на постельном белье. А нынче утром ты туда не ходил. И коньяк очень уж быстро разыскал – знал ведь, что он тут есть и где стоит! А как думаешь, что со страху мне расскажет Баркхаузен? Да на кой мне сидеть тут и слушать твое вранье! Соплив ты для этого!

Бальдур не мог не согласиться и выложил все как есть.

– Так-так! – подытожил комиссар. – Ладно, каждый делает что может. Дураки – глупости, а умники иной раз глупости еще похлеще. Что ж, сынок, в конце концов тебе все же хватило ума не врать папаше Рушу. И это тебе зачтется. Что бы ты хотел отсюда взять?

Глаза у Бальдура загорелись. Вот только что он совершенно пал духом, но теперь снова приободрился.

– Радио, патефон и пластинки, господин комиссар! – алчно прошептал он.

– Хорошо! – милостиво произнес комиссар. – Я ведь сказал тебе, что раньше шести сюда не вернусь. Еще что-нибудь?

– Может, один-два чемоданчика с бельем? – попросил Бальдур. – У моей мамы с бельем неважно!

– Боже, как трогательно! – насмешливо сказал комиссар. – Какой заботливый сынок! Поистине мамино сокровище! Ну да ладно! Но это все! За остальное отвечаешь передо мной! А я чертовски хорошо запоминаю, где что лежит и стоит, меня на мякине не проведешь! И как я уже говорил, ежели что – обыск у Персике. В любом случае найдутся радиола и два чемодана белья. Но не дрейфь, сынок, пока ты не финтишь, я тоже не стану.

Он пошел к двери. Только бросил напоследок через плечо:

– Кстати, если этот Баркхаузен тут снова появится, никаких скандалов с ним не затевать. Я этого не люблю, понятно?

– Так точно, господин комиссар, – послушно ответил Бальдур Персике, и они расстались. Воскресное утро прошло для обоих вполне удачно.

Глава 17

Анна Квангель тоже обретает свободу

Для Квангелей этот воскресный день прошел не столь удачно, по крайней мере, разговор, которого так желала Анна Квангель, не состоялся.

– Не-ет, – отвечал Квангель. – Не-ет, мать, не сегодня. День начался неправильно, в этот день я не могу делать то, что, собственно, задумал. А раз не могу, говорить об этом тоже не стану. Может, в другое воскресенье. Слышишь? Вон по лестнице сызнова крадется один из Персике... не обращай внимания! Только бы они не обращали внимания на нас!

Однако в это воскресенье Отто Квангель был необычно мягок. Анна могла сколько угодно говорить о погибшем сыне, он не запрещал. Даже просмотрел с ней немногие фотографии сына, какие у нее были, а когда она опять заплакала, положил руку ей на плечо и сказал:

– Не надо, мать, не плачь. Кто знает, может, так оно и лучше, мало ли от чего он уберется.

Итак, хотя разговор не состоялся, воскресенье все равно прошло хорошо. Давненько Анна Квангель не видела мужа в таком благостном настроении, казалось, будто опять выглянуло солнышко, последний раз осветило все вокруг перед наступлением зимы, которая упрячет все живое под свой снежно-ледяной покров. В последующие месяцы, когда Квангель становился все холоднее и молчаливее, ей поневоле часто вспоминалось это воскресенье, оно дарило утешение, не давало пасть духом.

Потом началась новая рабочая неделя, такая же, как и все прочие, похожие одна на другую, все равно, цветут ли цветы или метет метель. Работа всегда одна и та же, и люди такие же, как всегда.

Только одно маленькое происшествие, совсем маленькое, случилось с Отто Квангелем на этой неделе. Он шел на работу, и на Яблонскиштрассе ему повстречался отставной советник апелляционного суда Фромм. Квангель, конечно, поздоровался бы с ним, да опасался глаз Персике. А вдобавок не хотел привлекать внимание Баркхаузена, которого, как рассказывала Анна, забирали в гестапо. Ведь Баркхаузен уже вернулся, если его вообще куда увозили, и снова болтался возле дома.

Поэтому Квангель как бы не заметил советника, прошел мимо. Тот, судя по всему, был не столь склонен осторожничать, во всяком случае, он легонько приподнял шляпу, улыбнулся соседу глазами и вошел в дом.

Вот и хорошо! – подумал Квангель. Тот, кто видел, скажет себе: Квангель все такой же неотесанный чурбан, а советник – человек культурный, воспитанный. Никому и в голову не придет, что этих двоих что-то связывает!

Зато Анне Квангель предстояло решить на этой неделе трудную задачу. В воскресенье перед сном муж сказал ей:

– Надо тебе выйти из «Фрауэншафта». Только аккуратно, без шума. Я тоже избавился от должности в «Трудовом фронте».

– О господи! – воскликнула она. – Как же ты сумел, Отто? Как они тебя отпустили?

– По причине моей природной дурости, – необычно весело ответил Квангель, заканчивая разговор.

Задача поставлена, надо ее решать. На дурость рассчитывать нельзя, это не причина, слишком хорошо они ее знают, надо придумать что-нибудь другое. Весь понедельник и вторник Анна Квангель ломала себе голову и в среду, кажется, наконец придумала. За дуру ей себя точно не выдать, тогда, может, за чересчур умную? Слишком много знает, слишком хитрая, слишком себе на уме, это для них еще хуже, чем дурость. Чересчур умная плюс не в меру ретивая – да, пожалуй, то что надо.

И Анна Квангель решительно пустилась в дорогу. Ей хотелось поскорей покончить с этим делом, хотелось, если удастся, нынче же ночью сообщить Отто, что она справилась с задачей так же, как он, то бишь не вызвав политических подозрений. Надо навсегда отбить у них охоту к ней соваться. Пусть, вспомнив об Анне Квангель, сразу думают: ой, она для этого никак не годится! О чем бы ни шла речь!

Одной из главных задач Анны Квангель в пору, когда ввоз подневольной рабочей силы еще не развернулся во всю ширь и фюрер еще не поставил особого уполномоченного в ранге министра руководить работоторговлей, – одной из главных задач Анны Квангель было выявлять среди немецких соотечественниц тех, что уклонялись от работы на военных предприятиях и тем самым, как гласила партийная риторика, предавали фюрера и собственный народ. Как раз недавно коротышка-министр Геббельс в одной из статей ехидно упомянул накрашенных дамочек, чьи лакированные ноготки отнюдь не освобождают их от работы для народа, причем работы вовсе не конторской!

Правда, в очередной статье министр, вероятно под нажимом дам из собственного окружения, поспешил добавить, что лакированные ногти и ухоженный вид конечно же нельзя считать принадлежностью исключительно паразитических антиобщественных элементов. И настоятельно предостерег от огульных нападок! Партия справедлива и тщательно рассмотрит каждый случай, о котором ее информируют. Тем самым министр – пожалуй, не без умысла – спровоцировал лавину доносов.

Но, как не раз случалось и до и после, первой своей статьей министр разбудил в народе самые низменные инстинкты, и вот здесь-то Анна Квангель сразу увидела свой шанс. Конечно, в ее районе жили в основном люди скромные, но *одну* дамочку, в точности подходящую под данное министром описание, она все-таки знала. И заранее улыбалась при мысли, какой эффект произведет ее визит.

Означенная дама жила в большом доме возле парка Фридрихсхайн, дверь отворила горничная, и госпожа Квангель накинулась на нее, чтобы скрыть внезапно нахлынувшую неуверенность:

– Чего-чего? Пойдете узнавать, можно ли поговорить с хозяйкой! Я из «Фрауэншафта», я должна с ней поговорить и поговорю!.. Кстати, девушка, – вдруг добавила она, понизив голос, – какая такая «хозяйка»? У нас в Третьем рейхе хозяек нету! Мы все трудимся для нашего любимого фюрера – каждый на своем месте! Мне нужна госпожа Герих!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.